

*Георгий Грамм*

## РУССКИЙ СТИКС

*Роман*

Wheresoe'er I turn my view,  
All is strange, yet nothing new<sup>1</sup>

*Samuel Johnson*

Лето одна тысяча восемьсот сорок первого года от Рождества Христова выдалось бог весть каким. Короткие жары сменялись вдруг промозглым северным ветром, и надолго заряжали нудные дожди-сеногнои, поднимая из берегов реки и в грязь разбивая дороги. Выйдешь во двор, глянешь в мутное небо, сплюнешь и перекрестишься: за что, господи, напасти сии терпим?

В доме по причине слякотно мерзкой погоды было жарко натоплено и стоял тот тяжелый удушливый полумрак, который бывает от сырых дров и чрезмерной экономии свечей. Верно, управляющий был из немцев или из бывших интендантов. Сам же дом этот казался необычайно громоздким. Был он о многих комнатах и походил скорее на деревенский трактир или обветшалую почтовую станцию, где среди лиц знакомых и алознакомых попадались и вовсе случайные или даже неизвестные, на которые, впрочем, никто не обращал никакого внимания. По бесконечным проходам меж комнат толкались какие-то чумазые розовощекие девки в подоткнутых передниках, сновали худосочные юноши, с гитарою или без оной, и терлись о косяки пушистые хозяйские коты, а из дальнего угла доносились слащавые звуки цыганского романса.

В передней зале играли. За круглым столом собрались трое. Тусклые трехсвечные канделябры обманчиво освещали их лица, рождая порой странные портретные сходства.

Так один из них, с длинным носом, похожим на руль рыбацкой лодки, с тяжелыми усталыми веками и едва различимой усмешкой на тонко очерченных губах напоминал известного всем картежника, поэта и любимца императрицы Гаврилу Романовича.

Другой, молодежавый и круглолицый, с густыми, полумесяцем бровями и чуть опущенными бакенбардами, был копией князя Шаховского.

---

*Георгий Грамм* (Воскресенский Георгий Борисович) родился в 1954 году в Ярославле, где живет и поныне, работает учителем математики и информатики в школе. С 2005 года неоднократно публиковался в журнале «Дружба народов». Предыдущая публикация — повесть «Свинцовый дирижабль», «ДН», 2014, № 4), в 2016-м в изд-ве «Факел» вышел роман «Изгнание русского духа, или Улыбайся в Нью...».

<sup>1</sup> Куда ни глянь, все странно, но ничего нового (*англ.*).

И наконец третий — страшно сказать! — третий... Хотя стоит ли продолжать? Пусть уж лучше они сами назовут друг друга.

Итак, шла игра. Оплывший воск свечей заляпал английское зеленое сукно обивки, от которого засалились и карты, в бокалах остывал забытый шоколад, а в щели прикрытых ставень проникал неверный свет, и вообще было уже очень поздно. Или слишком рано? Судя по кислым лицам собравшихся, игра шла по маленькой, не принося никому ни крупных выигрышей, ни столь же заметных поражений. Видно, Фортуна нынче отдыхала.

— Я пас, — сонно произнес один из игроков и раздраженно кинул карты на стол рубашкою вниз.

— Так не положено! Не положено! — укоризненно закачал головой сосед слева, похожий на Гаврилу Романовича. — Вы нарушаете правила!

А сосед справа грустно поглядел на паснувшего и тоже с явным упреком проговорил на немецкий манер:

— Александер!

— А и черт с ними, с правилами! Какие могут быть правила?! Мне надоело. И вообще, господа, который теперь час? — поднялся из-за стола нарушитель.

— Зачем же час? Играй сейчас. Сей час судьбой и предназначен, — донесся из угла голос четвертого, не принимавшего участия в игре.

— Bravo, Дельвиг, bravo! — захолопал в ладоши тот, к кому обратились, — Александер.

— А вы? — спросил игрок справа. — Прочтите и вы нам что-нибудь из новенького, раз уж так бесцеремонно покинули игру.

— Ну, что бы вам, право, этакое, князь?.. Я и не знаю. Вот разве это: «В дом прекрасный и пустой воротился царь морской...» Впрочем, нет, господа, не буду. Пустое... Да здесь и не пишется вовсе.

— Зато как дышится!

— Да, господа, накурили мы знатно!

— А не хотите ли вина, господа?

— Что? Вина? Ну уж нет, помилуйте!

— А не позвать ли нам поручика?

— Только, чур, не при дамах!

— Да где же вы видите дам, Александер?

— Не знаю, мелькали здесь будто бы...

Тут же явился и помянутый поручик, как всегда невесть откуда и в заляпанном грязью мундире.

— Послушайте, Ржевский, вы будто сейчас с коня, — усмехнулся из своего угла барон.

— Так дождь, господа, — виновато захолопал глазами поручик, — извините.

— Извиняем! Извиняем! — наперебой засмеялись господа. — Нуте-с? На бис! Что-нибудь из старенького.

— Ну, так, значит, вот, — начал поручик, запинаясь и неловко переминаясь с ноги на ногу. Наконец он вытянулся и застыл в торжественной позе греческого декламатора. — Про Пушкина. Анекдот. С бородой, — добавил он, обведя особым взглядом присутствующих.

В зале повисла напряженная тишина.

— Приезжает как-то раз поручик Ржевский в соседний полк, — начал он, — а там банкет. Дамы, шампанское и все такое. Господа офицеры у рояля собрались.

— И с чего бы он, право, туда приехал? — вмешался Дельвиг.

— Барон! Барон! Не мешайте же! Какая вам разница для чего? Так надо! Продолжайте, поручик.

— Ну так вот, собрались они у рояля, а полковой старшина — охальник и дуэлянт — и говорит: «Господа, господа, извольте выслушать! Новый анекдот о Пушкине. Только что из Петербурга». Все хором: «Просим, просим!» Он и рассказывает: «Поехал как-то раз Пушкин в лес с дамами. Грибы собирать. Ходили-ходили по лесу. Надоело. Умаялись. Решили в прятки поиграть. Вот все попрятались кто где, а кому-то водить досталось. Одна дама в стог забила — ее сразу нашли, другая за дерево спряталась — ту тоже недолго искали, и только Пушкина искали, искали — нигде найти не могли. А он, не будь дурак, залез в болото и кричит оттуда: «Во мху я! Во мху я!» Ну, офицеры натурально заржали: «Браво! Браво! — кричат. — Чудесный каламбур!» Возвращается поручик Ржевский в родной полк и рассказывает: «Вчера я, господа, у соседей такой прекрасный каламбур услышал! Про Пушкина». Офицеры, конечно, обрадовались, закричали: «Просим, поручик, просим!» «Так вот, — начал Ржевский, — поехал раз Пушкин в лес с дамами. В прятки играть. Ну, разбежались все, попрятались кто куда. Кто — в стог, кто — в болото. А Пушкин влез на дерево и кричит оттуда: «Пошли вы на ...й! Пошли вы на ...й!»

— Браво! Браво, поручик! — засмеялись игроки.

— Ну, это уж нет, господа! Это уж ни в какие ворота прямо! — скривился в углу Дельвиг.

— Да полноте вам, Антоша! Это же Ржевский! Чего ж вы хотели? Вы бы еще Баркова сюда пригласили.

Ржевский сконфузился, переминаясь с ноги на ногу.

— Ладно вам дуться, голубчик. Не обижайтесь! — приятельски хлопнул его по плечу Александер. — Ступайте! Ступайте! Возьмите вот рупь на водку.

— Премного вам благодарен, господа, — откланялся Ржевский.

— Послушайте, а поручик, он кто? — спросил из угла Дельвиг, когда тот удалился. — Откуда он взялся?

— А бес его знает!

— Я тоже что-то не упомяну, когда он объявился в наших палестинах, — заметил князь.

— А разве это так важно, Фёдор Петрович?

— Да нет, но любопытно, знаете ли...

— А слышали вы, господа, как он французов обманул? — засмеялся Александер.

— Нет, нет, расскажите!

— В двенадцатом году это было. Наполеон тогда долго стоял под стенами Москвы, войти не решался. Все ждал капитуляции. И видит раз в трубу — белые флаги! Велит поход трубить. Входят в город. Посылает он узнать, от кого принимать капитуляцию. Являются разведчики по известному адресу, а на пороге их поручик Ржевский встречает. «Это вы вывесили белые флаги?» — спрашивают. «Да нет, — отвечает Ржевский, — это я портянки решил проветрить».

— Вот сукин сын!

— Признайтесь, Александер, вы это сейчас придумали?

— Да что вы, господа, это было!

— А как он в комедии господина Грибоедова играл, слышали, господа? — вступил Гаврила Романович. — В домашнем театре князя... впрочем, не стану называть фамилии. И роль-то ему пустяковая досталась — слуги. Так, на пару слов. Всего-то и сказать: «Полковник Скалозуб! Прикажете принять?» А надо заметить, он впервые на сцену вышел и страшно перепугался. Пока ждал выхода, все твердил за кулисами: «Полковник Скалозуб, полковник Скалозуб...» А как подняли занавес, вытолкали его на сцену, он и ляпни: «Полковник Сказолуп! Приняжете прикать?» Такой конфуз вышел. Поручика, сказывают, весь вечер сельтерской отпаивали.

— Вас послушать, господа, так прямо какой-то народный герой получается. Этакий а-ля Иванушка-дурачок.

— А что, Антон Антонович, это мысль!

— Это не мысль, Гаврила Романович, это мыслища! Bravo, Антоша, bravo! Каждой эпохе свой дурачок, как фи́га в кармане.

— Это-то и обидно, господа! Что ж у нас всё дурачки в героях?

— И опять же вы правы, барон, такая уж наша планида. Вы у князя поинтересуйтесь, как он со товарищи погеройствовать решили и что из этого вышло.

— Истинная правда, господа, — подтвердил Шаховской, — дурак нынче в фаворе.

— Вот и тост родился, а вы вина не хотели. За дурачков, господа! Как за дам, стоя! — поднялся Александр.

— А я не поднимусь и пить за них не стану, — нахмурился Дельвиг.

— Ну и черт с вами, барон, как хотите. Дуйте на весь мир.

На минуту воцарилась неловкая тишина, нарушаемая лишь приглушенными звуками из дальних помещений, среди которых особенно выделялась скверно настроенная гитара.

— Так который все-таки час, господа? И распахните же наконец ставни. Дайте свету! — опомнился первым Александр.

— Но почему вас так тревожит время? Вы чего-то ждете? — заинтересовался Фёдор Петрович.

— А вы уж, стало быть, и забыли? Вот и напоминай вам после этого. Нынче пятнадцатое число, Мишеньку привезут.

— Ах да, простите! И в котором часу?

— В шесть пополудни.

— Так идемте же скорее встречать!

Природа ознаменовала их выход особо неприятливым порывом ветра и мелкою сечкой дождя.

— Теперь бы только дома сидеть, — недовольно пробубнил себе под нос Гаврила Романович, угодив башмаком в лужу возле самого крыльца. — Не лето прямо, а черт знает что!

Безлико ровная, ничуть не всхолмленная местность простиралась перед ними. В ней безраздельно царила та особенная унылость, что подвластна лишь балалаечному строю, да и то в руках ученика, выучившего первые три аккорда. Редкие вёглы, склонившись в извечной печали, нисколько не радовали глаз, а только усугубляли общую безотрадность картины. В целом все тут вязалось одно с другим в бесконечно однообразный занудный мотив не то песни, не то причитаний безыскусного деревенского пьянчужки.

— А у нас здесь и не бывает иной погоды, — горько усмехнулся Фёдор Петрович, — разве что зимой, на святки.

— Ну, зачем уж так мрачно, князь?! — улыбнулся ему поверх очков Антоша. — Вон хоть и Александра спросить.

Тот, невзирая на рост, ушагавший далеко вперед своих спутников и захвативший лишь самое начало разговора, неожиданно резко обернулся и, состроив рожу, комично развел руками.

— Я ж говорил — карикатура!

— Полноте вам, друзья! Вас послушать, так прямо какой-то вселенский пессимизм!

— Эх, барон, барон! Вам ли с вашей неметчиной в крови судить! Jedem das seine<sup>1</sup> — не так ли? — не удержался Гаврила Романович.

— А что вы, собственно говоря, имеете против неметчины, против порядка и воли? Эту вашу «обломовщину»?

---

<sup>1</sup> Каждому свое (нем.).

— Я протестую, барон, так нечестно! — вмешался в спор Фёдор Петрович. — Это еще не вошло в обиход.

— Не вошло, так войдет, ждать недолго.

— И все-таки надо же придерживаться правил, тем более с вашей-то немецкой пунктуальностью!

— И вы туда же! Далась вам моя немецкая кровь! Да ежели хотите, я не менее русский, чем вы!

— А вот и нет! — опять не сдержался Гаврила Романович. — Дух, он, знаете ли, неистребим. Я еще давеча заметил, как вы за дурачков пить не стали.

— Господа, господа! Ну что вы, право, как дети?! — попытался урезонить их Александр.

Но тут уж вскипел Антоша — не унять, пунцовыми яблоками налились припухлые щеки. И верно бы, дошло до пистолетов, если бы одно непредвиденное обстоятельство не отвлекло горячие головы, заставив их позабыть о распрах. Они аккуратно поравнялись со старой, наполовину усохшей ветлюю, когда от ствола отделилась мрачная фигура в монашеском капюшоне и преградила им путь.

— По какому праву, любезный?! — выступил наперед князь, возмущенный помехой, и, забыв что он не при шпаге, принял стойку и потянулся рукой к отсутствующему эфесу.

Это движение не ускользнуло от незнакомца. Усмехнувшись тонко очерченными губами, он примирительно поднял правую руку и с язвительной укоризной в голосе произнес:

— Опомнитесь, Фёдор Петрович! К чему это ваше en-garde<sup>1</sup>? На вас никто не нападает. Оставьте сие для барышень.

— Разве мы представлены? — не обращая внимания на его иронию, парировал князь. — Что-то я вас не припомню, сударь!

— Ай-яй-яй! Не признали? — притворно обиделся незнакомец. — А сказывались магистром ложи!

— Вам-то что до того?! — нервно оборвал его тот.

— Мне-то, может, и ничего, а вот вам, полагаю, должно быть стыдно.

— Прежде чем стыдить, сударь, — вступился за товарища Гаврила Романович, — соизвольте назвать нам свое имя!

Но незнакомец, пренеприятнейше улыбнувшись в ответ, сделал этакий книксен в сторону защитника и нарочито задушевно, что выглядело уже явным издевательством, произнес:

— А вам, любезный Гаврила Романович, так и вообще пора... — он на секунду задумался и продолжил: — почистить перышки. Засиделись вы, так сказать, в этом предбаннике.

— Да кто вы такой, черт возьми, чтобы указывать?! — пришел в негодование автор «Фелицы» и даже топнул в раздражении.

— Я тот, кого вы вызываете всякий раз, не ведая, что сами вызываемы им, — туманно выразился незнакомец.

По лицу Александра пробежала смутная тень догадки, тогда как на лицах его спутников не отразилось ничего, кроме искреннего недоумения: есть места, в коих мысль нам не вполне подвластна.

— Ну и что? Что это значит? — произнес князь, но как-то вяло, без интереса. — Что означает ваш каламбур?

На сей вопрос незнакомец и вовсе не счел нужным ответить, а вместо того весьма неприлично зевнул, едва прикрыв рот ладонью. Затем как-то таинственно подмигнул,

<sup>1</sup> Начальное положение при фехтовании (*фр.*).

но не так чтоб кому-то особенно, а вообще, и вдруг, заговорщицки перейдя на шепот, поинтересовался:

— А куда это вы так спешите, господа, на вечер глядя?

Странная дрожь охватила Александра. Ему показалось, он где-то видел уже это лицо, это, пожалуй, наглое и вместе с тем такое печальное выражение глубоко посаженных глаз. И припомнился вечеряющий Петербург, скрип возка на синееющих сугробах, маслянистое мерцание иконных лампад в черной глубине киотов да раскатистый окрик извозчика: «Па-аберегись, еть твою туды! Барина везем!» Но нет... видение было не оттуда.

— А мы вот на реку собрались, — ответил он за всех и, словно бы извиняясь за своих спутников, пригласил: — Хотите, присоединяйтесь к нам.

— С удовольствием, — ответил незнакомец и усмехнулся. — Не купаться, надеюсь?

Все же и князь, и Гаврила Романович в особенности, еще дулись невесть на что и потому остаток пути молчали. Антоша насвистывал какой-то романс Лядова, а Александр погрузился в бесплодные воспоминания. Что же до незнакомца, тот, казалось, все еще посмеивался в душе над незадачливыми путешественниками.

Река открылась им сразу вскоре за очередной купой чахлах кустарников, открылась во всей своей равнинной безмятежности. Туманная морось не позволяла толком разглядеть противоположный берег, к тому же было не вполне ясно, берег ли это? Не залитый ли водой остров мешает увидеть истинное? Там, за зыбкой пеленой рубежа, рождалось сейчас то, к чему были устремлены все их помыслы и взоры. И думалось о многом, вспоминалось. «На встречу юному пииту, — захваченный торжественностью момента сочинял Гаврила Романович, — уж Елисейские поля оделися в зелены травы, шумят приветливо дубравы, внимая песне кобзаря...» Александр нервно теребил бакенбарды.

Но ждать пришлось недолго. Не успел Гаврила Романович и вполовину составить свое пафосное воззвание, а Фёдор Петрович, как сказали бы теперь, ухватить понюшку табаку, как послышался плеск весла, и утлый челнок, раздвигая камыши, ткнулся к покосившимся мосткам. Лица перевозчика было не разглядеть, он будто бы слился со своей лодчонкой, зато его юный спутник был прекрасен. Пылкий взгляд странно оттенял его мертвенную бледность. Казалось, весь он был еще там, на том берегу, в битве, и лишь понурая девичья округлость плеч говорила о неизбежности свершившегося.

«Кавказец! Кавказец! Мишенька!» — пробежал сдержанный ропот среди встречающих. Сам же он, печальным взором обведя пустынную местность, неловко ступил на берег.

— С возвращением! — выкрикнул Александр, опередив остальных, и протянул ему руку. — Ура, господа! Нашего полку прибыло!

— Как, вы здесь?! — изумился гость, очевидно признав его, и с некоторой робостью ответил на рукопожатие.

— Здесь, мой друг, здесь! Как видите! Помнится, вы искали встречи со мной? Ну вот и дождались! — радостно сообщил он. — И давайте же без смущений, по-приятельски. Тут все так. Называйте меня просто Александр, мне будет приятно.

И он уж собрался было представить юному прозелиту своих друзей, как в разговор бесцеремонно вмешался незнакомец.

— Еще успеете наговориться, — нагло заявил он, подхватив юношу под руку, — времени у вас будет предостаточно.

Александр, смущенный таким напором, не успел и возразить, как тот, точно на крыльях, увлек свою жертву, и они шагали уже где-то далеко впереди, а в ушах все еще звучали слова незнакомца, брошенные напоследок: «Герои имеют право!»

— Вот вам и встреча, — обескураженно развел руками Гаврила Романович. — Сами напросились! — язвительно добавил он.

Но Александр не слушал. «Имеют право, имеют право», — бубнил он себе под нос. Вспомнилось, как сам таскал, уцепивши за бороду, воздушного карлу, не находя, к чему бы ее привязать, а тот лишь охал и стонал, моля о пощаде. И лишь на третий день удалось запереть его в чулане.

— Пустое! — ответил за товарища князь. — Это всегда так.

Дорогой обсуждали пережитое.

— А что это за река такая, господа? Вспоминал, вспоминал, никак не мог вспомнить, — пожаловался Антоша.

— Как?! Разве вы не признали? — удивился Фёдор Петрович. — Это же Смородина!

— Господь с вами, князь! Это Почай! Так и в «Слове» сказано, — перебил его Гаврила Романович. — А Смородина, так та совсем в ином месте, дальше. Почай — это рубеж, а уж кто за Почай перешел, тому и Смородина не страшна. И потом, на Смородине мостки, вы ж должны помнить, а здесь переправа.

— Верно, верно, я перепутал что-то, — согласился Фёдор Петрович, — теперь-то припоминаю. Калиновый мосток, так ведь, кажется? Змей сторожит.

— Ну, змей — не змей, где как рассказывают. Дойдете, сами узнаете. А так... никто ведь не возвращался, чтобы спросить.

— А в «Слове» разве Почай сказано — не Каяла? — осторожно поинтересовался Антоша.

Но Гаврила Романович сурово замахал на него руками.

— Что вы! Что вы! Каяла — это к Дону, а тут Почай!

Александр, который некоторое время шел молча, обернулся.

— Одного не пойму, господа, а как она с другими реками соотносится? — спросил он.

— Это еще и раньше такой вопрос был, — задумчиво проговорил Гаврила Романович. — Полагали, где-то в Заволжье искать следует, в вятских лесах. А я так думаю, что и севернее. Этак где-то в Перми.

— А не в Олонецком ли крае?

— Нет, нет, там не может. Там и реки другие — мельче. Такой не сыщешь.

— Да, красивая река, — промолвил мечтательно князь. — Ото всех вроде взяла — и от Волги, и от Дона, а уж от Днепра и подавно. Я как первый раз увидел, так и обомлел.

— А давно это было? — поинтересовался Александр.

— Уж давненько! Теперь и не припомню.

— И все же из всех вас старожил я, — не преминул вставить Гаврила Романович. — Вот уж уйду, так промеж себя старшинство делить станете.

— Ну, это когда еще будет! Может, еще и вперед кого пропустите.

— Нет уж, это вряд ли. Видно, прав был энтот нынешний герой — засиделся. Пора и честь знать.

Собственно, на этом разговор и закончился, потому как вернулись к дому и тут уж разбрелись кто куда по своим неотложным делам. Александр же, затеплив свечу, уселся сочинять письмо другу. Письмо было не совсем обычным и уже тем отличалось от прочих, что не имело ни начала, ни конца. Казалось, он всю жизнь трудился над ним. «Душа моя, — писал он нынче, — ты не поверишь, как захвачен я теперь своими воспоминаниями. Порой даже кажется, а не из них ли и состоит вся наша жизнь? Ибо кто мы в сущности, как не дети воспоминаний? И вот уже в который-то раз задаю я себе один и тот же мучительный вопрос: а в чем смысл этих переживаний и разве не исчерпали они себя уже в тот самый миг, как впервые были нами испытаны? Но тут же сам себе и возражаю: а так ли он чист, тот наш опыт при "первом поцелуе", и не мешают ли всякие помехи вкусить его истинную сладость? И вот, переживая

сызнова, мы раз за разом срываем шелуху обыденности, пока не доберемся наконец до исконного ядра».

Мысли путались, напирала одна на другую, громоздясь наподобие весенних льдин, и Александер едва поспевал записывать их, ритмично покачивая в такт головой. Он и не заметил, как состарился вечер и вырвавшееся из облачного плена солнце ударило красным лучом по ставням и по унылым промокшим деревьям. За этим-то занятием и застал его Гаврила Романович, неслышно войдя в кабинет.

— Ну, вот я и решился, друг мой! — весело сообщил он и несколько гнусаво промычал: — «Malborough s'en va-t-en guerre»<sup>1</sup>.

— Как же это?! — оторвался от пера Александер. — Так скоро? Но ведь...

— И не отговаривайте, мой друг, не надо! Смотрите, какой дивный вечер! Когда еще случится такое? Солнце в дорогу — отрада!

— Позвольте хотя бы проводить вас? — поспешно вскочил Александер.

— Конечно, конечно! Я и сам бы просил об этом, — радостно согласился Гаврила Романович.

— Так подождите же, я крикну остальных!

— А это лишнее, мой друг, поверьте, пусть только вы и я. Не станем делать из тайнства балаган. Вы уж как-нибудь потом за меня проститесь. Да и пора уже, солнце садится, — сощурился он.

В огне заката раскисшая дорога полыхала, как самоварная медь, и черным рисовался недалекий лес, вскинув к небу острые пики елей. Охваченные благоговейным трепетом, путники молчали, думая о своем, пытаясь загодя разглядеть ту просеку в чаще, куда вводила дорога.

— А вы бывали здесь прежде? — не вытерпел наконец Александер.

Гаврила Романович пожал удивленно плечами:

— Зачем? Всеу свое время, не так ли?

— Может и так, — согласился Александер. — А только жутко как-то, знаете ли! У меня так мурашки по коже!

Там, где дорога, окончательно превратившись в тропинку, ныряла в лес, стоял камень. Был он темен и мшист, в добрую половину человеческого росту и видать по всему, что поставлен был здесь задолго до царя Гороха.

— Что ж это? — удивился Александер, склоняясь прочесть надпись. — Раньше вы о нем ничего не сказывали!

— Камень и камень. Подумаешь?! Да я, признаться, и сам не знал.

— Э... тут не просто! — пробормотал Александер, водя пальцем по углублениям едва различимых букв. — Не просто камень! Тут слова! «Свет светит», — прочел он по слогам, силясь понять значение надписи. — Тут вот совсем стерлось. Тут ижица вот, юс малый... нет, не разобрать, — вздохнул он.

— Ладно, какой теперь во всем этом смысл? — бросил Гаврила Романович, раздражаясь задержкой.

— Кабы прочли, так был бы и смысл. Верно, предупреждение какое.

— Уж если и предупреждение, то для вас, для тех, кто еще не готов, — буркнул Гаврила Романович и улыбнулся, пряча печаль. — Что ж, давайте прощаться. Чует мое сердце, не скоро свидимся вновь, а и свидимся, так узнаем ли друг друга?

— Узнаем, узнаем! — воскликнул горячо Александер. — Непременно узнаем!

— Как знать? — произнес неопределенно Гаврила Романович и, по-стариковски смахнув набежавшую слезу, повернулся и зашагал прочь.

— Прощайте! — крикнул Александер ему в спину, но тот, не оборачиваясь, лишь едва качнул головой.

---

<sup>1</sup> Мальбрук в поход собрался (фр.).



В закатном солнце его неожиданно сгорбившаяся фигура таяла, будто ярмарочный леденец, пока не пропала вовсе, задернутая мохнатыми лапами елей.

Прошло с полчаса, а тропинка не кончалась, все дальше и дальше уводя в лесную глушь. Давно уже село солнце, и в сгустившихся сумерках стали видны редкие звезды, мелькавшие в просветах листвы. По временам путнику казалось, чьи-то глаза пристально следят за ним из темноты, и он едва сдерживался, чтобы не оглянуться. Поникие ветви сбрасывали порой за шиворот редкие холодные капли, заставляя зябко передернуть плечами. А то вдруг где-то в стороне за деревьями слышался сиплый хохот, и тогда уж Гаврила Романович ругался сквозь зубы, торопливо осеняя себя крестом. Неприметные в темноте ветви хлестали в лицо, ноги разъезжались на осклизлой глине, а он все шел и шел, гонимый и жаждой, и страхом одновременно.

Прошло еще полчаса, как не больше, прежде чем он не то чтобы совершенно успокоился, но хоть как-то пришел в себя, справедливо рассудив, что бояться здесь нечего. «Чего это я? — пробормотал он под нос, — леса разве испугался?» И уж было повеселел, собрался даже молодецки присвистнуть, заложив в рот два пальца: эй! что тут за нечисть?! Выходи! — да так и обомлел, прилепившись спиной к корявому стволу.

То, что уловило его ухо, но еще не различал глаз, напрасно борясь с темнотой, при других обстоятельствах могло показаться совершенно пустяшным делом. При других... но только не здесь. Это были шаги, тяжелая поступь неизвестного, и шаги эти приближались. «Чур, меня! Чур!» — еле слышно пробормотал Гаврила Романович, еще сильнее вжимаясь в спасительный ствол. Мгновение спустя мрачная фигура в древнем хитоне поравнялась с ним и, не задерживаясь, будто дым сквозь пальцы, двинулась мимо. «Ба... да это же дух! Другие оттуда не приходят!» — только теперь сообразил Гаврила Романович, хотя еще секунду назад ему было не до размышлений.

— Эй! — крикнул он вдогонку, пытаясь приручить непослушный язык. — А далеко ли тут до моста?!

Но то ли крик вышел тихий, то ли встреченный им оказался глуховат, а только никакого ответа он не получил.

Непредсказуемы людские страхи. По-разному действуют они на труса и смельчака, а Гаврила Романович был не робкого десятку. Отнюдь не робкого! Вот и теперь, рассудив здраво, усмехнулся лишь над своей минутной слабостью. И более того: вдруг в мгновение ока осознал, что никакой он больше не Гаврила Романович с досадливой одышкой и неодолимой склонностью заплеснуть за воротник, а рыцарь, что ни на есть рыцарь без страха и упрека, вышедший померяться силой с неведомым чудищем к реке Смородине. И уж более он ничего не боялся.

В тех краях, где крапива да малина, да завалившийся набок плетень, где и лето бывает не в лето, а так, что хоть с печи не слезай, в тех печальных краях взгрустнется, бывало, о тепле, о солнце и припомнится веселое голоногое детство. Лукошко ли, полное ягод, костер за рекой или гроза под вечер. И защежит вдруг тоской сердце о невозвратном, заплачет, и поймешь тогда со всей остротой явившегося откровения, что вот это-то и есть твоя родина. А всякие там Бенкендорфы да Аракчеевы, коллегии, присутственные места, балы по пятницам у французской тетушки — все это никакая не родина, а так, не пойми что.

Странный дух, перепугавший накануне Гаврилу Романовича, вызвал немалый переполох в этих неведомых простому смертному краях. Впрочем, до поры сие оставалось тайною для их обитателей, а потому и пребывали они в полном здравии и благостном расположении духа. Князь играл на гитаре, Ангоша сверлил очками потолок, удобно развалившись на диване, а Александер приводил в порядок ногти.

— А где ж это Мишенька-то у нас пропадает? — озаботился Фёдор Петрович,

отложив в сторону повязанную алым бантом гитару. — Мне так и обидно даже, господа: встречали, встречали...

— Верно, со своим дружкой расстаться не может, — ухмыльнулся Антоша.

— Полно болтать пустое, барон! — осадил товарища Александр. — Или не доводилось вам прежде слышать о том, что герои преследуют своих творцов? Вижу, доводилось, — произнес он, выдержав паузу. — И что б вам вместо того не поинтересоваться, а где теперь Гаврила Романович?

— А что ж в том интересного, право? Дрыхнет, поди, как немецкий валенок!

— Разве и такие бывают? — прыснул Антоша. — Чем больше вас узнаю, князь, тем более вы меня удивляете.

А Александр, нахмурясь, покачал головой.

— Стыдитесь, князь! Вы не на плацу!

— При вас уж, ей-богу, нельзя и...

— Нельзя, нельзя! — поспешно оборвал его Антоша, не давая договорить, и нарочито жеманно замахал на него руками.

Такие милые колкости случались меж друзьями ежечасно, ничуть, впрочем, не омрачая общей приятельской атмосферы.

— Так вот, господа, — вполне торжественно проговорил Александр, — любезнейший Гаврила Романович приказал всем низко кланяться и отбыл давеча в известные вам края. То есть, конечно, — совершенно неизвестные, — поправился он. — Ваш покорный слуга имел честь сопровождать их сиятельство до самой опушки леса.

На мгновение в комнате воцарилась полная тишина.

— То есть, как это отбыл?! — опомнился первым князь. — А как же мы?

— Чего ж тут непонятного? Дойдет очередь и до нас.

— О чем вы? Какая еще очередь? Разве туда очередь?

— Да нет, конечно же. Это я просто так фигурально выразился. Вот вы, к примеру, готовы? Я — нет! — ткнул себя в грудь Александр. — Мне покуда и здесь хорошо. К тому же вчера у леса я такого натерпелся, не приведи господь!

— Да не о том ведь я и спросить-то хотел, черт побери! — осерчал Фёдор Петрович. — А в том больше смысле, что и разговор-то вчера несерьезный был — ну, пора и пора, подумаешь! Как на охоту: пора, мол, за зайцем ехать. А на самом-то деле можно и обождать. Не так же скоро!

— Ну, это всегда так. Никогда нельзя сказать заранее, а приходит срок — и идешь. Я бы вот, может, и хотел, да не смог. Говорю же, такой страх обуял, а Гаврила Романович, тот пошел как ни в чем не бывало. Как к себе домой пошел, прямо.

Антоша зевнул.

— Мне и здесь хорошо, господа. Моя бы воля, и вовсе никуда не ходил, так бы и жил тут. Жаль только, и это когда-нибудь да наскучит. Нет в мире совершенства!

— Экий вы, право! Совершенство вам подавай! Здесь не Германия, сударь.

— В Германии не совершенство, князь, а порядок. А это, согласитесь, не одно и то же.

— Вот и не соглашусь! — нахохлился Фёдор Петрович. — Где порядок, там и совершенство!

— Господа, господа! Опять вы за старое! Уймись же наконец! — вмешался Александр, предчувствуя новый разлад.

— Да вы и сами-то, Александр, рассудите! Вот барон о совершенстве твердит, а какое же это совершенство без порядка?

— Ничего я такого не твержу, — обиделся Антоша.

— Не перебивайте, сударь, дайте договорить. Какое ж может быть совершенство, ежели нет порядку? Этак один бедлам получается, как в туруханской бане. Перво-наперво порядок должно установить, а уж потом и о совершенстве думать.

— Мне кажется, Антоша совсем другое имел в виду: совершенство есть некая высшая ипостась, которая уже сама по себе являет божественный порядок и оттого никакого иного порядка не требует, будь то хоть немецкий, хоть чей угодно другой. Так ведь, барон?

— Ну... что-то в этаким роде, — лениво откликнулся с дивана Антоша.

— Как это тонко, господа! Bravo! Bravo! — раздался из прихожей насмешливый голос вчерашнего незнакомца, а через мгновение обнаружился и он сам, стаскивая на ходу промокший плащ. — Вы уж извините покорно, но порядок, господа, будь он хоть божественный, хоть государственный, никакой на самом деле не порядок, а сплошное надувательство и насилие над личностью. Порядок, господа, это моя воля и не более того.

— А почему бы вдруг не моя? — процедил сквозь зубы Фёдор Петрович, который еще со вчерашнего дня затаил обиду на этого субъекта.

— Хотя бы и потому уже, что вы об этом спросили, — довольно развязно парировал незнакомец. — Глупо просить то, чего нужно требовать. Разве не об этом было записано в вашей «Зелёной книге»<sup>1</sup>?

— А как же идеалы равенства и братства?

— Ваши идеалы, князь, яйца выеденного не стоят. Они и во Франции-то никому не нужны, а уж тем паче в России.

— Можно подумать, вы знаете, что нужно России? — произнес Фёдор Петрович, особо при этом напирая на слово «вы».

— Конечно же знаю, и даже берусь доказать вам это! Хотите пари, господа?

— И каковы же условия? — хмуро поинтересовался князь.

— Но я, сударь, не ряжусь с вами! Или уж все — или никто. Так как же?

За все время этой странной пикировки Александр и барон молчали, выжидая, что будет дальше. Александр чувствовал некий скрытый подвох в предложении гостя и мучительно искал, чем на него ответить. Наконец решил, что будет лучше, если найдется какой-нибудь компромисс и, словно досадуя, произнес:

— Как же это вы здесь один? А Мишенька? Разве вы не вместе?

— Они отдыхают, — отмахнулся, словно от безделицы, гость. — Нынче после завтрака изволили почивать.

— Что-то вовсе на него не похоже, — с сомнением покачал головой Александр.

— А разве вы близко знакомы?

— Нет, но, знаете ли...

— Знаю, — бесцеремонно оборвал незнакомец, — ищите повод уйти от ответа.

Что ж, я предвидел, что вы не примете вызов. Впрочем, с вами или без вас, а дело будет сделано, — таинственно заключил он.

— Это что же, угроза?! — не выдержал Фёдор Петрович.

Но гость лишь хмыкнул в ответ, удостоив князя насмешливым взглядом. Возможно, какие-то тайные причины заставляли его до поры держать язык за зубами, но он явно не считал нужным их пояснять.

В воздухе повисло тревожное ожидание. Гроза — не гроза, но что-то сухо потрескивало по углам помещения наподобие разрядов электричества. И в тот самый миг, словно луч солнца, блеснувший из-за туч, вошел, а лучше бы сказать и ворвался тот, кого уже не чаяли нынче видеть.

— Мишенька! — радостно вскочил ему навстречу Александр, протягивая руки. — А нам сказали, вы спите! Объясните же в самом деле, что все это значит, — обвел он широким жестом комнату. — И наконец представьте нам вашего героя!

Мишенька, явно смущенный столь дружеским напором, в нерешительности переводил взгляд с одного на другого, и в глазах его светилась та искренняя доброта, которую никак не спутаешь с мудростью.

<sup>1</sup> Устав «Союза благоденствия».

— Право, не знаю, как и представить, — смешался он. — Ну, это Дух, господа, Демон, если хотите.

При этих словах тот, чье имя перестало отныне быть тайной, сделал какое-то неммыслимое па из давно забытого светского этикета, но сделал это нарочито небрежно. Словно всем своим видом хотел подчеркнуть некую в высшей степени самостность и независимость от создателя. Впрочем, что и говорить, он и так являл весьма разительный контраст в сравнении со своим творцом.

— Geist<sup>1</sup>, — произнес он сухо, точно ворон кашлянул, — попрошу именно так, господа.

— Ну вот, все и прояснилось, господа, и слава богу! — заключил Александр. — Теперь, когда наконец все в сборе, я предлагаю отметить сие радостное событие.

— А почему же именно Geist? Почему же не Spirit<sup>2</sup> или, наконец, l'Esprit<sup>3</sup>? — не обращая внимания на примирительный тон Александра, не удержался Фёдор Петрович.

Гость ответил не сразу. Тяжелым взглядом, в котором застыло недоумение, обвел он присутствующих и, остановившись на князе, проговорил с той обидной интонацией, с какой обычно профессор выговаривает нерадивому ученику:

— Старушка Англия мирно дремлет в волнах океана, сударь, и не стоит ее будить. Франция же давно утратила свой революционный пыл, забыв и Конвент, и санкюлотов. И лишь Германия, верная боевому духу и древнему пророчеству о проклятии золота Нибелунгов, поднимается теперь с колен.

— Так, верно, и жить бы поближе к золоту Рейна. Чего ж на чужбину-то потянуло? — не унимался князь.

— Экий вы, право, остряк, сударь! — впервые улыбнулся гость. — Жить, конечно же, приятней в Европе, — задумчиво произнес он, — куда как приятней! Но революцию лучше делать в России.

— Оставьте наконец ваши умные споры, господа! Князь, ну сколько же можно тираниить гостей?! — не выдержал Александр. — Шампанское, господа!

При этих словах в руках Антоши хлопнула выстрелом бутылка, другая, и вот уже веселое вино игриво зашипело в бокалах. Какое-то время не набравшее должной силы оживление носило излишне строгий, чтоб не сказать — чопорный характер. Еще смущал звон вилок, казался хрупким хрусталь, и нечаянный локоть соседа взывал к немедленным извинениям. Но где-то в дальних комнатах попробовала свой строй гитара, за ней увязались скрипка и гнусавый тенор, а через минуту, шуриша юбками и выбивая дробь каблуками, в неожиданно раздавшееся помещение ввалилась толпа цыган. И уже не прислушиваясь более друг к дружке, пирующие кто отбивал задорный такт на пузатых французских бутылках, кто, не устояв перед искушением страстной песни, подвывал режущим ухо фальцетом, а Александр так и вовсе ударился в пляс в кругу чернооких красавиц. «Ай, на-нэ, на-нэ, на-нэ. Ай, на-нэ...» — летело, кружило над залой, сбивая пламя свечей, и время, словно застыдившись своей неумолимости, остановило бег, рыжим прусаком забилося в далекие щели.

Кто сказал, что тризна — это печаль? Тризна — это радость по вернувшимся из страны испытаний героям.

— Как вам наши края, Мишенька? — склонился к самому уху гостя Антоша.

— Не знаю, еще не решил, — едва улыбнулся тот и добавил, пригубив вина из бокала: — Хотя, впрочем, шампанское — славное.

— А какое тут молоко! Как в детстве! — мечтательно произнес Антоша. — А ржаные пряники! Кухарка наша такие пекла. И сон глубокий, будто на сеновале, в прореху звезда смотрит. Вот погодите, еще обвыкнете!

<sup>1</sup> Дух (нем.).

<sup>2</sup> Дух (англ.).

<sup>3</sup> Дух (фр.).

— А есть ли здесь горы и море?

— Горы и море? — задумчиво переспросил Антоша. — Нет, не слышал. А впрочем, ежели захотите, так, верно, същутся. Вам бы с Гаврилой Романовичем переговорить, он многое знал про здешние места, жаль вот, ушел вчера.

— Как это ушел? Куда?

— На Смородину, а то куда ж? Александер вон, — кивнул он на пляшущего, — провожал давеча.

— Позвольте, это что же за Смородина такая, разве та, былинная? Мне казалось, это фантазия.

— В том-то и дело, что никакая не фантазия, а самая что ни на есть реальность! Пожалуй, реальнее даже, чем мы с вами, — усмехнулся Антоша. — Это там, — махнул он неопределенно рукой, — фантазии, а здесь все по-настоящему.

— Что же, и поглядеть можно?

— Успеете еще, наглядитесь. Всему свой срок. Туда не просто так попадают.

— А как же?

— Вот этого не скажу, потому как и сам не знаю. Спросите лучше Александера, он нам нынче что-то такое рассказывал.

Мишенька задумался, посмотрел невидящим взором в окно, где на ставнях играли прозрачные тени берез. Произнес не то печально, не то сокровенно:

— Вообще, как-то странно все это. Ведь вчера еще только — Кавказ, Пятигорск, а сегодня вот здесь, с вами...

— Это бывает вначале, — согласился Антоша, — после пройдет. Все пройдет, — философски заключил он.

Тем временем за другой половиной стола складывался совершенно иной характер беседы. Князь, несколько захмелевший от выпитого и утомленный хороводом цыган, приятельски, если не сказать — фамильярно, ухватил под локоть своего соседа и, мучительно подбирая слова, произнес:

— Послушайте, Гайст, или как вас там! Так что это вы давеча рассуждали о революции?

Возможно, при других обстоятельствах такое его обращение и не осталось бы без последствий, но теперь, после обильной трапезы, гость был благодушен и явно не склонен к ссоре. И потому, уцепив со стола очередного вальдшнепа с аппетитной румяной корочкой, он на мгновение задумался, решая, по всей видимости, с чего начать, и, не найдя ничего лучшего, решил поступать, как Цезарь. Запустив зубы в сочное мясо, не без усилия проговорил:

— Революция — это большое искусство, сударь! Уж вы мне поверьте. — Освободившись наконец от птицы и широко улыбнувшись, прибавил: — Будьте так любезны, мой друг, подайте, пожалуйста, салфетку.

И опять-таки по формуле: коль скоро не обижаешься ты, так обижаются на тебя, особенно если этого ищут, Фёдор Петрович должен бы был осерчать. Должен бы... и уже было собрался, но, видимо, повод показался даже ему пустяшным. Посему не оставалось ничего иного, как выполнить незамысловатую просьбу и с преглупым выражением лица спросить:

— И в чем же вы видите тут искусство?

— Прежде всего, — вытерев рот, начал словоохотливый собеседник, — необходимо выяснить, кому и зачем это нужно. — И для пушей важности он поднял вверх указательный палец.

— Было бы чего выяснять! — рассмеялся князь на очевидную немецкую тупость. — И так все ясно!

— И что же, простите за нескромный вопрос, ясно лично вам?

— Да всем нужна эта революция! Всем!

— Неужели-таки всем? Вот вам, к примеру, зачем бы? — недоверчиво поинтересовался его оппонент.

— Ну... это... — замылся князь, — да тут не о чем и говорить! Все и так ясно как божий день!

— Что ж это вы, сударь, заладили одно и то же — ясно да ясно? Выскажитесь по существу.

В этот момент особенно громко ударила музыка, будто также призывая Фёдора Петровича дать сокрушительный ответ этому зазнайке, а гнусавый тенор изнемог на самой высокой ноте: «Скажи, скажи мне, друг сердечный, где похоронена она!»

— Черт с вами! — отчаялся Фёдор Петрович улизнуть от прямого ответа. — России нужна Конституция! Ей просто необходимо представительное правление! Наконец, ей давно пора сбросить самодержавие и провозгласить республику! Таков предначертанный ей путь!

— Охотно приму к сведению, сударь, — ухмыльнулся гость, — но вам-то лично зачем это нужно?

— То есть как зачем?! Как это зачем?! — Фёдор Петрович даже опешил от такого наивного вопроса. — Разве же я не сын своего отечества?

— Разумеется! Так оно и есть! — нарочито горячо подхватил гость. — Но ведь общественное служение не лишает вас потребности иметь и собственное мнение. Не так ли?

Фёдор Петрович помрачнел. Вопрос немца загнал его в угол. Он только теперь вдруг с совершенной очевидностью осознал, что никогда прежде и не задумывался об этом. Круговорот событий увлек его, как и всех его близких друзей, непосредственным переживанием происходящего: война двенадцатого года, заграничный поход, невиданная доселе европейская жизнь... Да, были тайные собрания и споры, и горячие головы, и горящие глаза. И за всей этой кутерьмой и предчувствием грядущих перемен как-то рассеивалось, стиралось личное, уходило на задний план, вытесняемое всеобщей эйфорией и пафосом.

— Ведь не станете же вы утверждать, — продолжал меж тем въедливый немец, — будто бы настолько срослись с общественным духом, что все личное перестало для вас существовать?

«Конечно же, не стану, — ворчал про себя Фёдор Петрович. Он уж и не рад был, что ввязался в этот дурацкий спор. — Черт меня дернул! — ругал он себя. — Совсем ведь допек, прощелыга судейская!» И уже искал, как бы отшить навязчивого собеседника. Но тот и не думал униматься, будто и впрямь решил допечь князя своей прокурорской логикой.

— Так вот я и спрашиваю вас, сударь, кому и зачем это нужно? А что же вы? — И не дождавшись ответа, сам же с усмешкой и отвечал: — А вы мне взамен твердите о какой-то предопределенности. С вами невозможно вести спор!

Неизвестно, чем бы закончилась их перепалка, но на счастье князя к столу вернулся запыхавшийся Александр, вырвавшись из круга танцующих.

— Вас нельзя оставить одних, князь, — с укоризной покачал он головой, застав конец разговора. — Вечно вы с кем-нибудь сцепитесь.

— Неправда! — непритворно обиделся Фёдор Петрович. — Я всего лишь поинтересовался, что думает наш гость о русской революции, так, в общих чертах, а он тут целую философию выдумал!

— Ну-ну! — погрозил ему пальцем Александр. — Знаем мы это ваше «в общих чертах»!

— Да вот же, ей-богу! — разволновался князь. — Вы-то что же молчите? — обернулся он к своему противнику.

— А что вы хотели услышать? — бесстрастно произнес тот.

— Господа! Господа! — перебил Александр. — Сколько ж можно?! Ну, время ли теперь?! Антоша! Мишенька! Идите же скорее пить вино! Барон, наливайте!

Взобравшись на табурет, он картинно поднял над головой бокал.

— Господа, — торжественно объявил он, — я хочу выпить теперь за этот чудесный край, что приютил всех нас! Пусть идет дождь, пусть сыро и слякотно за окном, и пусть все это называется «летом», но мы вместе, несмотря ни на что. И это чудесно! За наше братство, господа!

— Прекрасный гост! Bravo! — воскликнул Антоша. — Но... — он обвел товарищей многозначительным взглядом, — но очередь теперь не ваша. Вы нарушаете правила.

С этими словами он обернулся к Мишеньке и, учтиво поклонившись, произнес:

— Не хочу показаться педантом, но как распорядитель я вынужден... — он сделал широкий жест рукой, словно приглашая его на середину, и, отступив в тень, закончил: — Господа! Слово гостю!

Мишенька, явно смущенный вниманием, вышел в круг.

— Гост действительно прекрасный, и мне, право, неловко, господа...

— Так в чем же дело? — выкрикнул князь. — Повторите — и дело с концом!

— Пожалуй, вы правы, — задумчиво проговорил тот. — Если позволите, лишь одно уточнение: за наше мужское братство.

— Стоя! — еще громче выкрикнул Фёдор Петрович. — Bravo, господа! — и, выпив залпом, хрястнул бокалом об пол.

Вечером того же дня Александр писал: «Mon ami, что за чудо был нынешний вечер! Мишенька наконец-то пришел в себя и болтал без умолку. Рассказывал про Кавказ, про черкесов, про обычаи диких горцев. Читал “Мицыри”. И хоть мы давным-давно заучили эту историю наизусть, слышать его интонации, его чарующий голос было одно удовольствие. Антоша по обыкновению мечтал. Князь же — только и забот что спорил о политике. Будто ничто другое его теперь и не радует. Насилу оторвал его от Мишенькиного протеже. Кстати, не обошлось без конфуза, а причиною послужило все то же пагубное пристрастие Фёдора Петровича. Этак на середине вечера он заявил вдруг, что желает спать, но немного спустя вернулся и стал приставать ко мне с расспросами, что я думаю о мятеже двадцать пятого года. И правду ли молвят о том, что я отвечал царю. “Ну, что-то говорил в этаким роде, — ответил я князю, — припоминаю. Впрочем, какое это теперь имеет значение?” “В том-то и дело, что огромное!” — с жаром отвечал он и непременно добивался узнать мое личное отношение к событиям. Этот же новоявленный Мишенькин герой, услышав мой ответ, не преминул усмехнуться: “Вот видите, что я вам говорил?” Очевидно, сие замечание следовало отнести к бывшему промеж ними спору. Князь вспылал, наговорил много такого, о чем в другое время верно бы пожалел, пытался призвать к ответу и Мишеньку: “Да уймите же вы его, наконец!” К нашему изумлению, Geist даже не счел нужным обидеться, но, думаю, то, что он ответил, озадачило нас в не меньшей степени. “Он, — указав пальцем на Мишеньку, произнес наш новый знакомый, — лишь вызвал меня из небытия. Другие оденут меня в плоть, но ни один из них не будет иметь надо мной своей власти”.

Как прикажете сие понимать?! Воистину, как говаривал мой папенька, que la volonté du ciel soit faite!<sup>1</sup>!»

Странный край этот, протянувшийся в междуречье Смородины и Почая, имел не только свои особенности, но и свои тайны. И одной из них была та, что души сходящие и души восходящие в своем движении никак не соприкасались друг с другом. Тайнство это не было следствием какого-либо пространственного разделения индивидов,

---

<sup>1</sup> Да исполнится воля небес (фр.).

а по необходимости являлось отражением их природной сущности. Таким образом, то, свидетелем чему стал Гаврила Романович, было, скорее, исключением из правил, неким странным стечением обстоятельств.

В один из последних дней лета тот, кого князь со свойственным ему прямодушием перекрестил на русский манер Гайстом, имел весьма прелюбопытную встречу. Визави же его как раз и выступал тот самый дух, что находился в контрадикции Гавриле Романовичу в его последнем на земле героическом путешествии. Поздние августовские сумерки стужались над лесом. Солнце давно село, а красный диск луны еще не отбросил неверные тени, угольком мерцая сквозь ветви. Словом, тьма была такой, что и в двух шагах не различишь, лошадь пред тобой или человек. Хотя зачем свет тому, кому не нужны глаза, чтобы видеть?

— Так вот мы и снова встретились с вами, мой друг! — мрачно рассмеялся Гайст, и смех этот, прокатившись по опушке, вспугнул филина в чахлом осиннике. — Не ждали? Думали, забыл старый спирт?

— Не ждал, — честно признался его визави, и что-то печальное прозвучало в низком голосе: то ли скорбь, то ли досада.

— Вам бы теперь трагедию играть в самый раз, — усмехнулся Гайст, — то-то бы давилась публика! Впрочем, чего уж поминать! — оборвал самого себя. — Что было, то прошло! Обстоятельства изменились, пришел иной зритель. Хотя... — задумался он и неожиданно перешел на высокий штиль: — Хотя трагедия, как прежде, в моде. Плавильщиков, Мочалов, Каратыгин — какой напор! Какие имена! И прочие не хуже подрастают... Но я отвлекся. Это день вчерашний. Вы встретите иные времена.

Повисла невольная пауза. Казалось, Гайст и его спутник застыли наподобие древних каменных изваяний, над которыми не властны ни стихия, ни время. И даже летучие мыши, не замечая помехи, едва не задевали их крылами.

— Но разве прошлой услуги вам было недостаточно? — не вытерпел собеседник, и голос его при этом заметно дрогнул.

— Помилуйте, о чем вы, голубчик?! Конечно, достаточно! Но согласитесь ли вы сами после всего, что было, прозябать в глуши, в неизвестности, в этаким русском Стратфорде? Скажем, где-нибудь в Киеве или — хуже того — ютиться в сыром московском подвальчике? Вот в чем вопрос!

— А ответ? Мой ответ вам уже известен?

— Ну, зачем вы так? — картинно обиделся Гайст. — Конечно же, нет! Всегда есть выбор, и этот выбор за вами.

— И что я должен? Чего потребуете вы на сей раз?

— О, сущие пустяки! Безделица! И говорить не стоит! Всего лишь чуть-чуть сместить акценты.

— Опять добро и зло?

— Опять! — тяжело вздохнул Гайст. — Что правит миром? — продекламировал он. — Извечный вопрос, не правда ли?

— Но и ответ извечен — зло лишь правит, а побеждает все же не оно! — парировал собеседник.

Гайст в ответ лениво усмехнулся.

— К чему такой пафос, мой друг?! Мир условен: что зло для одного, то для другого — благо.

— Нет, я не соглашусь. Зло абсолютно!

Сей экспромт Гайст приветствовал бурными аплодисментами, взбудоражившими сонную округу.

— Bravo, мэтр, bravo! Недаром же прозвали вас сотрясающим сцену! Но потрясти основы мироздания вам все же не удастся, — рассмеялся он. — Зло абсолютно?



Кто бы мог поверить! Ну, право, замечательный дебют! И чем его прикажете измерить — насколько абсолютен абсолютен?

— Настолько, насколько абсолютно осознание того, что это зло. Злодей, убивший многих, все ж тяготится кровью жертв своих. Не кажется вам странной тяжесть эта? Как говорил когда-то Гесиод...

Но Гайст с поспешностью перебил, приняв актерскую стойку:

— Не надо пересказывать Макбета, там есть куда забавней эпизод. Припомните, что леди Макдуф сын ответил про злых и добрых граждан: если первых на свете большинство, то что ж рядиться в белые одежды? Куда как проще взять да перебить всех прочих! А после праздновать победу черных сил. Однако же такого не бывает, ведь всяк себе желает лишь добра.

— Но что тогда добро, коль во спасенье я тысячами бить готов неверных, кто не согласны с формулой моей? Себя на страже добрых сил считая, в помощники мы призываем зло. И тут уж воле нашей не помеха ни крепкий муж, ни старая вдова, ни чадо сирое, что от роду нет году.

— Пример ваш тягостен, он приговор людскому роду, который пользуется ангину топором, отбросив все микстуры и лекарства. И я боюсь, ответ мы не найдем, когда так свысока на землю смотрим и муравейник судеб ворошим. Я ж приведу пример иного рода, и пусть он предостаточно избит, зато куда как прост для объяснений и утолит ваш пылкий аппетит. Итак, вот случай: некоторый отец, чтоб сына приобщить наукам мудрым, отдал того на время в обучение к священнику или купцу — не в этом суть. А отрок был характера дурного, и страсть к бумаге вовсе не питал, за что и бит бывал раз по десять на дню. Ну, в общем, ситуация знакома. Так вот, он план в груди лелеял долго обидчику отмстить, пока...

Тут Гайст неожиданно оборвал свой рассказ, задумчиво взглянув в черную пустоту, и потянул носом стусившийся воздух.

— Так что — пока? — нетерпеливо подстегнул его собеседник.

— Пока не вырос, разве ж не понятно? И так всегда мы всюду видим зло, пока не вырастем из собственных штанишек, которым довелось краснеть от розг. И тот не вырос, кто не понимает — добро без зла на свете не живет. И что есть зло, как не добро до срока?

— Пример простецкий, нечего сказать! Но вряд ли объяснит он все изъяны.

— Нет, все не объяснит, бывают глубже раны. Но вы дослушать не изволили меня.

Он посмотрел печально на поднимающуюся над лесом луну и продолжил:

— Когда глядите вы на бледное светило, какие мысли бередят ваш ум? И почему нам кажется унылым свет ночи, что сродни могильным огонькам? Когда б не солнце, верно, этот свет мы благостью великой почитали б и гимны возносили до зари его источнику... но я отвлекся. Полагали вы, что знаете расклад небесных сил, умеете предвидеть их желанья и приводить в движенье мертвецов рукою кукловода ловкой. Плясать и петь под дудку скомороха вы научили многих гордецов. Или заставить плакать короля, что в старости снискал к себе презренье, скопивши только нищету в удел. Что ж, шутка удалась, ликуй, раёк, иль плачь досадно! Хвала терпению, дослушавшему притчу до конца! Лишь два уменья остались неподвластны вам: зло оборачивать в добро, а то — обратно. Для этой цели разве ведьм позвать, смешав в их чане то, что смешивать опасно.

— К чему вы клоните?

— К тому, что мир сложнее ваших заклинаний, и в нем не просто два, в нем целых три начала! Когда б посмели вы, отбросив ложный страх, внутрь обернуть глаза, то вы б их отыскали. Как в капле отразился мир, так в каждом отразились их дерзання.

— Так что с того? Какая в том печаль, две силы или три над нами управляют? Я и одну-то разгляжу едва ль!

— Увидеть нелегко то, что лежит в начале. Но без того решить вопрос со злом вы

можете оставить на потом — вам ни на шаг не сдвинуться вперед в познание истины, хотя б весь мир на помощь вы призвали.

— Но что есть истина, и постижима ли она?

— Ха-ха! Вопрос весьма уместный. Еще Пилат им как-то задавался. Ответа, как мы знаем, он не понял. А вы достойны в мудрости тягаться, пусть не с Афинской школой, но с римским прокуратором вполне. Вам только лишь основы подогнать...

— Что ж, я готов услышать ваш рассказ.

— Так слушайте, начну издалека я. Весь мир был пуст и в пустоте тосклив, а колыбель безвременья убога. Но мысль жила, толкалась в темноте. И мысль была — «Мне хорошо», и мысль была — «Мне плохо». И эти две неласковых сестры друг с дружкой уживались до поры. Но кто хоть раз рожден, тот, верно, знает, — любая колыбель нас угнетает. Так ныне человеческое дитя толкает ножкой люльку, проверяя, насколько прочен плен, пока узнает, что всякий плен, конечно, это — Я. А время шло... На наше исчисление минули очень многие века, и сестры обособились в стремление устроить мир по-своему. Река той жизни издревле петляет, и не сойдутся вместе берега. Но разорвать покров небесных вод им все же не удастся — мысль другая в струящемся течении живет. Как усмирить извечную вражду и — пусть связать в единстве не удастся — с сестрою все же примирить сестру, восстановив разрушенное братство. Меж тем все дальше устремлялась та река, и шире раздвигались берега. Был берег первый, как хрустальный сон, мечтою неземною напоен, и, отражаясь в водах родника, на нем гурьбой резвились облака. Из облаков, из их прозрачных сфер, родился светлый ангел — Люцифер. Другой же берег низок был и сед, туманами болотными одет. И там, сплотив росу, сгустив туман, родился темный ангел Ариман.

— Все это, право, интересно даже, но где здесь Бог? Заполните изъян.

— Вы плохо слушали, иначе б не спросили. Бог — он в единстве этих двух начал, стоит у равновесия на страже. Но до поры не проявляет он своих пристрастий, верный середине. Итак, продолжу я. Той бури след в сих ангелах укоренился ныне, но жизни так расширился поток, что прежней страсти нету и в помине. И мир иссяк бы, верно, изнемог, растекаясь по окраинам в бессилье, когда бы в дело не вмешался Бог. Вот вам и Бог, вы, кажется, просили? В те стародавние былые времена носилась между волн молва такая, что вздумал он в теченье здешних вод вскормить неведомый доселе плод. Не это ли пример, когда слова ложатся на язык наш, как халва? Но дело долгое, затея непростая, и из возможностей различных выбирая, решил себя он взять в основу как пример и сотворить на образ и манер подобие свое из ткани вод и бросил семя, чтобы дало всход. Какой далекий, позабытый ныне век! Еще чисты и мысли, и дела. Так появился первый человек, и участь его трудная ждала. Он должен был по мере робких сил на разных берегах реки гостить. Был брошен жребий в соблюдение мер, и первым его принял Люцифер. Наш первый друг, как первая любовь, — ласкают сердце мысли и слова. Когда пришлось нырнуть в пучину вновь, потоки слез он сдерживал едва. А темный ангел, ревностью объят, уже своей любви готовил яд. Вот так с тех пор и повелось людскому роду меж этих двух делить свою природу.

— Пусть так, но где здесь зло, я б вас спросил.

— Отвечу, коли так уж вам нейдется. Таится зло в соотношении сил, между которыми вам выбирать придется. Но выбор неизбежен, потому и кажется, что зло бездушно. Там нету зла, где выбирать не нужно.

— Вопрос к вам можно? Коль так печалитесь вы о людских деяньях, что ж сами служите вы не у тех господ, которым поклоняется народ? Иль ваша вера вас заставляет быть на службе Люцифера? Откуда же иначе эта боль?

— Вопрос мне странен ваш. Мы все играем роль, будь ты простолюдин или король, ревнитель святости или слуга измене. Тот — в жизни, а другой — на сцене, всяк ожидает выхода на бис, и чем смелей игра, тем выше приз. Но я отвлекся... мы почти до сути добрались.

— Я весь внимание!

— Итак, страна, что чудесами разными полна и духом велика, и крепкой верой, во власти оказалась колдуна или окажется почти что верно. А тот, хоть это выглядит и странно, отдаст ее в владенье Ариману.

— Чего ж тут странного? Сказали же вы сами о неизменном выборе меж вами! То тут, мол, человек, а то вдруг — там, не в этом, ну так в следующем веке...

— Сказать-то я сказал, так то ж — о человеке! А здесь иначе — целая страна, вся, без изъяну, на откуп отдается Ариману! И отдается так, что этой доли хлебнет отныне каждый поневоле.

— Ну что ж опять? Подумаешь, хлебнет! Зла разлито немало в этом мире! Вначале даже Бог его испил!

— Точи свой меч на оселке печали, ты зла еще не видел, мудрый Вил!

— Как? Вил? Назвали вы меня случайно иль с тайным умыслом? Давно уже, признаться, я имени такого не носил!

— Хоть нет имен у духов человеческих, но несомненно, что награда им воздастся по деяниям земным и тем уже, что имя сохранит их вечно. Да жаль, поднявшись ввысь — большее падать, и здесь, я думаю, найдем мы компромисс. Вы там, внизу, я — тут, над вами, незримую между собой протянем нить. Ведь кто бы что ни говорил нам с вами, за гениальность надобно платить. Вы лишь потяните, а я уж буду рядом, в сражение готов вступить. Дадим им бой, пусть знают, что обманом победу не одержит Ариман.

— Но быть лазутчиком во вражьем стане...

— К чему ж лазутчиком? Вы будете жить там. Смеяться и шутить, любить и плакать, и пить вино, и ранить сердце дам — все как обычно. Не обычен только ваш облик будет новым господам. Они распознают посланцев света по им одним известным в нас приметам. А там — держись! Не суйся им под ноги! Им нить судьбы на палец намотать, как прежде только паркам разрешалось, — что на дороге раздавить жука. И нам их суть нетрудно распознать — личине вражьей не пристало верить, но легче оттого не станет вам. Не раз случится на судьбу свою пенять и милосердьё на себя примерить. Что ж, все ли получили вы ответы? Так, может быть, ударим по рукам? Тогда за дело! Пусть вам еще полвека коротать до первых криков в детской колыбели, но дни летят, и за недели вы будете года считать. Должны еще мы многое успеть — плоды науки долго зеленеют под нашим небом, прежде чем созреть, — пока река не разлучит нас с вами.

— Но кем я буду, что мне делать в этой неведомой доселе стороне?

— О, тут и вовсе нет секретов! Прошу, во всем сполна доверьтесь мне! Вы врачевать научитесь вполне сначала тело, а потом и душу. И тем успешней будет мастерство, чем скальпель ваш проникнет в рану глубже.

— Смеяться вам легко, да вдруг за эти шутки друзья меня запишут в кондуит?

— А вы ответьте им, что Devil made me do it<sup>1</sup>. Друзья поймут, а Бог... он все простит. К тому же за его ошибки платить всегда приходится другим. А впрочем, так и быть, прикрою вас плащом своим широким — скорее примут вас тогда за чудака, чем будут злиться. Шуту любое шутовство простится.

— Но быть шутком, пожалуй, лишь при короле достойно.

— Нет, друг мой Вил, скорее больно! Смотреть на то, как спесь с гордыней об руку идут, а лицемерье сзади погоняет, а самому невольно бояться упустить одежды край? Избави Бог от этакого прока! Уж ежели согнуться, так от рока, а не под тяжестью дворцовых тайн.

— Однако ж многие охочие до смеха сочтут, что это вовсе не помеха — пожалуй, даже увлекательная роль. Любовником быть у капризной этой дамы: свидетелем, а не героем драмы! Такого не сыграет и король!

<sup>1</sup> Дьявол совратил меня (англ.).

— Друг мой! Без всякого пристрастия скажу, что вы огромный Мастер, и более того — актер! Но помните ли вы, спрошу вас прямо, отличие трагедии от драмы? В ней гибнет не герой, а хор! Так вот, мой друг, игрой какого рода вас нынче озадачила природа!

— Смех смеху рознь. Не до веселья, когда гибнут царства! И где ж пределы вашему коварству, что шутовской суете мне колпак?!

— Вот так всегда, когда о деле просишь! Тот — крови, этот — грязи не выносит. А больше норовят рукой чужою себе каштаны из огня таскать. Сказал же вам, что дело здесь серьезно, не до капризов! И пока не поздно, одумайтесь, чтобы ханжой не стать. Открою вам секрет по старой дружбе: веселый смех — смертельное оружие противу тех, кто темноте под стать.

— Мне речи ваши странны. Про смех я слышал много пересудов, но так, чтобы оружие — в первый раз!

— А вот теперь и посудите сами — под этими седыми небесами кого же и послать-то, как не вас? Но в добрый час! Обвыкните вы скоро в юдоли новой. Среди нас есть много литераторов известных. Введу вас в круг. При наших разговорах присутствовать вы будете, телесно незримо оставаясь им. Умом обьяв своим, полюбите вы здешние просторы, когда мы в наших странствиях по долу узрим героев сказочных былин. С природою обучитесь дружить... Чтoб душу разгадать народа, немало надобно усилий приложить.

Гайст поднял голову и, взглянув на Луну, что к тому времени уже успела достичь зенита, отбросив призрачные тени, задумчиво произнес:

— Однако ж бледное светило нынче тускло, иль глаз мой старый начал уставать? А нам лишь шаг до истины остался!

Странные сны снились порой Фёдору Петровичу. Москва — не Москва, а так, не пойми что, однако ж город. И купола, и Иван Великий. Но по Пречистенке какая-то железка на колесах грохочет, и гогот пьяный: «А мы вот такие, бя, сермяжные! Водку лопаем, на гармошке играем, не то что энти, бя — белая кость!» И казалось Фёдору Петровичу, его вот-вот раздавят, сомнут, вывернут карманы, и бог весть что еще такое казалось ему. Но в конце всегда появлялся кто-то огромный, переступая дома, а в руках держал длинный прут наподобие вязальной спицы. И вот на этот прут накалывал он разбегавшихся граждан, точно прусаков, и недовольно ворчал себе под нос: «Сука, Надька, опять давеча прокупоросить забыла!» Скрюченным пальцем грозил этой неведомой Надьке и уходил, протискиваясь в проулок, а Фёдор Петрович вздрагивал и окончательно просыпался, торопливо крестясь. Он никогда не рассказывал товарищам об этих снах. Раз как-то зашел у них разговор о мистическом, спиритуальном. И выяснилось, что и другие видят во сне нечто подобное. Но у Александра вот, например, то был и вовсе не мужик, а баба, и говорила она по-иному, по-своему. И все же Фёдор Петрович не спешил поделиться с товарищами сокровенным, справедливо полагая свое видение более утонченным, чувственным и не поддающимся сравнению с тем, что у товарищей.

Однажды дружная компания расположилась на крыльце, наблюдая за тем, как угасает вечер и солнце плавит верхушки сосен. Барон по обыкновению что-то тихонько насвистывал, Александр по памяти декламировал Гёте, а Мишенька старательно вычерчивал на песке понятные одному лишь ему астрологические знаки.

— И о чем же говорят ваши формулы? — прервал его занятие Фёдор Петрович. — Какими бедами грозят нынче звезды?

Тот в задумчивости ответил не сразу, а прежде стер каблуком зловещие символы.

— Звезды предсказывают царубийство, — произнес он мрачно.

— Эка невидаль на Руси! — рассмеялся князь. — Есть от чего печалиться.

— Что ж тут смешного? Вы полагаете, царей следует убивать? — откликнулся, оборвав мелодию, Антоша.

— Я такого не говорил, хотя, впрочем...

— Впрочем — что? Вы, верно, хотели сказать, что цари не люди?

Пауза затянулась. Фёдор Петрович как раз и собирался было сказать о том, что цари не совсем обычные люди, но Антоша бесцеремонно перебил его, и говорить об этом теперь уже не следовало. Но о чем же и говорить, как не о том, что думаешь? «Черт знает что!» — ругнулся про себя князь. Он вовсе и не думал сказать ничего эдакого, как только то, что царей на Руси убивали часто и ничего необычного в том нет. Но тенью промелькнула мысль о некоей их избранности, а уж язык зацепился, клонул, словно доверчивый карась, на эту приманку.

— Дело в том, — произнес наконец князь, — что цари проживают не совсем обычную жизнь. В отличие от простых смертных они богоизбранны...

При этих словах Антоша обернулся к друзьям и ухмыльнулся, мол, «а что я вам говорил?»

— ...А потому и полагаться более всего должны не на сиюминутные страхи, — продолжал меж тем Фёдор Петрович, — а на божий промысел.

— Но мы-то заговорили не о царях — о царевичах! — с юношеской горячностью воскликнул барон.

— А не кажется ли вам, господа, — вступил Александр, — что это одно и то же: палач и жертва? Хоть сапоги и разные, а все равно пара.

— Однако ж по Европе в такой паре не пошеголяешь! — попробовал отшутиться князь.

— Далась вам эта Европа, господа, — не то же ли было и там? Мы и тут с вами не первые.

— Плохо не то, что не первые. Скверно, когда дурное становится привычным, — философски возразил Антоша.

На мгновение все притихли, словно соизмеряясь с этим «привычным», и князь, выдержав для приличия паузу, поинтересовался:

— Но кто же, позвольте спросить, палач и кто жертва?

Мишенька задумался.

— Жертва — теперешний наследник престола, раз как-то я даже встречал его на Кавказе, — тихо произнес он. — А палач — тот и вовсе еще не родился. Впрочем, жребий уж брошен.

Все примолкли, каждый по-своему переживая неотвратимость судьбы.

— И как тут не вспомнить Цезаря? — задумчиво проговорил Александр. — Но лишь затем, чтобы с ним не согласиться. В Риме все-таки лучше не быть первым.

— Велика важность быть вторым! — раздался за его спиной знакомый чуть насмешливый голос, и в разговор друзей достаточно бесцеремонно вмешался тот, кого Фёдор Петрович считал своим обидчиком.

Следует отметить, что Гайст всегда появлялся неожиданно, как сказали бы древние, словно *deus ex machina*<sup>1</sup>. Впрочем, друзья давно уже перестали обращать на это внимание.

— И вы всерьез полагаете, что эта мера сможет защитить от пули убийцы? — рассмеялся он.

— Конечно же нет, — обернулся к нему Александр, — но шансы уменьшит значительно.

— Но что она стоит, такая жизнь? На своем поприще не лучше ли быть первым, и не к тому ли стремится всякий, взявший в руки перо ли, меч? Кульминации душ подобны кульминациям звезд. Да и вам ли сие объяснять?

---

<sup>1</sup> Бог из машины (*лат.*).

Логика была очевидна. Никто, будучи в здравом уме, не собирался оспаривать его выводов. Однако же князю все это показалось несправедливым: первенство одного всегда предмет зависти для другого. А потому, спрятав до поры свои чувства, Фёдор Петрович возможно более безразличным тоном спросил:

— Помнится, вы хотели просветить нас насчет революции, сударь. Так не откажите в любезности. В чем же вы находите тут искусство?

— Искусство здесь в одном, — столь же бесстрастно и в тон собеседнику выговорил Гайст, — всучить гнилой товар тому, кто и свежий-то покупать не собирался.

— Эх вы, сударь, прямо ввернули! С чего бы это — гнилой?

— Да с того хотя бы, что еще в Европе прокис, а вам за свежий показался.

— Возражаю! — вступился за товарища Антоша. — Революция всякий раз нова и несвежей быть не может!

Гайст бросил на защитника хмурый взгляд, будто на какую помеху, и тем же размеренным голосом продолжил:

— Революция, господа, — это такое поветрие на манер чахотки или инфлюэнцы, и уж коли где началось — пиши пропало. Вызывай похоронную команду.

— И чем она вас так задела? — не удержался от колкости Александр. — А не хотите ли взамен русский бунт?

— Бунт? — улыбнулся в ответ Гайст и облизнул губы, точно пробуя на язык незнакомое блюдо. — А отчего бы и нет? В нем клокочет молодость мира. Быть может, это слово и не так благозвучно, и не приятно на вкус, зато не разит нафталином и накрахмаленными воротничками.

Александр, сощурившись, переглянулся с Мишенькой и рассмеялся:

— Да вы, сударь, романтик! Жаль, теперь это вышло из моды. Видите ли, друг мой, — продолжил он, обернувшись к Мишеньке, и в голосе его прозвучала неподдельная печаль, — времена Пугачёва давным-давно канули в Лету.

— Это ничего, — будто и впрямь утешая его, вымолвил Гайст. — Зато очень скоро войдут в моду французские галстуки.

— А вот это, заметьте, очень даже возможно, — поспешил согласиться Александр.

— Да уж и входят! — подхватил князь. — Помните Петропавловский кронверк.

— То ли еще будет! — загадочно усмехнулся Гайст, и его усмешка показалась друзьям зловещей.

Солнце, бросив последний страдальческий взгляд на землю, село, и тени, незадолго перед тем протянувшиеся во всю ширину равнины, поглотила мгла.

— Скажите, господа, — неожиданно произнес Гайст, — знаете ли вы, как отличить революционера от простого смертного? То есть я, конечно же, имею в виду не человека, а его дух, тот, что еще только намеревается родиться среди людей.

Друзья с удивлением переглянулись.

— Но разве дух имеет какие-то отличия?

Гайст вздохнул.

— Отличия, разумеется, имеет не дух, а душа. Одна лишь она и придает нам индивидуальность. И все же дух, умудренный опытом земных странствий, раз за разом обретает свои неповторимые черты. Это душа запечатлевает в нем свои страдания.

Князь, позабыв о выбранном амплуа бесстрастного слушателя, живо обернулся к рассказчику:

— Так не хотите ли вы сказать, что страдания одних — тех, кого вы изволили назвать революционерами, отличны от страданий других?

— Именно, именно! — с жаром подхватил Гайст. — И не просто отличны, а чрезвычайно отличны! Дело в том, что...

Он вдруг умолк, пожегил, глянув куда-то в наползающий туман, и, оборотясь к друзьям, произнес:

— Пожалуй, уже поздно, господа. Не пойти ли нам в избу? — После чего, перейдя на таинственный шепот, добавил: — К тому же здесь слишком много посторонних ушей!

— Вы чего-то испугались? — настороженно спросил Антоша, когда компания уютно расположилась в передней зале.

— Испугался? — задумчиво переспросил Гайст. — Скорее, нет. Но для нашего дела так будет спокойнее.

— А разве у нас уже есть какое-то дело? — не удержался, чтобы не съязвить Фёдор Петрович.

Вопреки ожиданиям, Гайст нисколько не обиделся и в ответ высказался в том духе, что пока еще нет, но очень скоро будет.

— Так вы не договорили, — напомнил ему Александр. — Вы сказали: «дело в том, что...» Так в чем же оно? Поясните!

— Что ж, — согласился тот, — здесь действительно требуются объяснения, и я готов их дать. Извольте!

Расслабившись, провалившись в мягкие подушки оттоманки, он продолжил:

— Вам, верно, не раз доводилось слышать прежде, что царствие Божье следует искать внутри себя, а не снаружи. — Ищите да обрящете! — продекламировал он. — Так вот, есть многие, кто не согласны с этой формулой.

— Ага, — подхватил Фёдор Петрович, — как же, как же! Слыхали! Вельзевул, Люцифер, Князь тьмы!

Гайст поморщился.

— Что ж это вы, право, валите все в одну корзину? Этак у нас с вами ничего хорошего не получится.

Князь обиженно надул губы и замолк.

Вечер, до того тихий, вдруг зашумел листвою, хлопнул ставней. Потянуло сквозняком, и языки свечей заплясали, разгоня назойливую мошкарку. В дверь постучали.

— Не открывайте! — крикнул и тут же пружинисто вскочил Гайст.

— Это всего лишь ветер, — успокоил его Александр.

— Как знать? — задумчиво произнес тот, опускаясь на место. — Итак, — продолжил он через мгновенье, когда улеглись ложные страхи, — есть те, кто жаждет власти. — Он вновь прислушался к завыванию ветра и в задумчивости повторил: — Жаждут власти, да... Но власть есть лишь одна — от Бога.

— Вы, конечно же, разумеете при этом власть царя? — уточнил Александр.

— Именно! Именно так, сударь! — воскликнул Гайст.

— Но как же тогда пример французской республики или швейцарских кантонов? Им разве можно? — недоуменно проговорил Антоша. — Так в чем же разница? Или, что положено Юпитеру, не положено быку? В конце концов, даже обидно, знаете ли!

— А разница здесь как между браком по любви и браком по расчету, — улыбнулся Гайст. — По форме одно и то же, однако какое же различие по существу!

Мишенька, весь вечер хранивший странное молчание, так что о нем почти и забыли, вдруг спросил:

— Но в чем расчет?

— Если я правильно понял, — ответил за Гайста Александр, — то французская революция — стихия, бунт третьего сословия. Это любовь, не так ли? — оборотился он к Гайсту.

— Вы прилежный ученик, — кивнул тот.

— У нас же, — продолжал Александр, — заговор, ежели хотите — сговор, а это уж точно — расчет.

— Но где доказательства?! — воскликнул барон.

— Да вот же, пусть лучше князь скажет! — ткнул пальцем Гайст в сторону Фёдора Петровича.

Князь, до поры сидевший молча, как и велел ему Антоша, встрепенулся.

— А что, собственно говоря, хотите вы услышать? — настороженно произнес он.

Все собравшиеся невольно обернулись в сторону Гайста, ожидая разъяснений.

— Расскажите нам хотя бы о секретной директиве 1780 года, полученной из Швеции, или о берлинском циркуляре Александра Кутузова, — вкрадчиво проговорил Гайст.

— Но это же никак нельзя! Я давал клятву! — взмолился Фёдор Петрович.

— Господь с вами, голубчик! Какие здесь могут быть тайны?! — Гайст широким жестом руки обвел помещение. — А впрочем, не стану вас понуждать, — улыбнулся он. — Итак, — обернулся он к остальным, — всем, конечно же, известно, что господа масоны повсюду ищут выгоды. Не обошли они своим вниманием и Россию. Не станем утверждать вслед за некоторыми, будто заговор двадцать пятого года их рук дело. Хоть, впрочем, и без них не обошлось. Опять же, князь вот не даст соврать, — вновь кивнул он на притихшего Фёдора Петровича.

— Но царь Александр распорядился закрыть все ложи! — возразил барон.

— Вот именно, вот именно, мой друг! Потому-то я и не стал настаивать на признании князя! Но все ж французский опыт не дает покоя горячим головам. Масоны — это так, мелочь. Немало сыщется и других охотников до лавров Мирабо. Они-то вот и готовят для России брак по расчету, и уже в самое скорое время затевается нашествие женихов. Так что царевубийство в этом ряду, — тут он многозначительно поглядел на Мишеньку, — лишь самое начало.

— Но этому же должно помешать! — вскочил со своего места Антоша.

— Как?! Как вы полагаете сделать это?! — осадил его порыв Александр. — Как вы распознаете их? Это невозможно!

— Возможно, — тихо, но вместе с тем весьма убедительно проговорил Гайст. — И если припомните, господа, то именно с этого я и начал.

— Расскажите! Расскажите! — наперебой закричали друзья.

В комнате воцарилась тишина, и Гайст, оторвавшись от подушек, пружинисто поднялся. Он подошел к окну, попробовал зачем-то ставню и, сделав пару-тройку нервных шагов по зале, остановился ровно посередине.

— Итак, господа, — проговорил он, — мы остановились на том факте, что есть многие, кто жаждет власти. Вы хотите знать, как их отличить? О! Очень просто! — и проделал в воздухе некое вращательное движение рукой. — Их дух отягощен и не в силах высоко подняться. Туманными вечерами вроде этого они оставляют свой след в мокрой траве.

И опять дохнуло ветром снаружи.

— Но почему так? — спросил Антоша, зябко передернув плечами.

— Вы знаете, что такое внешняя тьма, о которой говорил Учитель? — вопросом на вопрос ответил Гайст.

— Очевидно, это то место, где правит Люцифер?

— О, нет! Совсем иное! — рассмеялся почему-то Гайст. — Люцифер — рыцарь света, а не тьмы.

— Падший ангел!

— Отпавший, но не павший! — нахмурился Гайст. — Вы плохо освоили демонологию.

— Но я и вовсе ее не изучал, — пробормотал Антоша.

— Ну что ж, — согласился, приняв его слова за извинение, Гайст, — в таком случае это многое прощает. Но с другой стороны, слишком затрудняет мои объяснения. Надеюсь, хотя бы с основами физики вы знакомы? — И дождавшись едва ли



убедительного кивка в ответ, продолжил: — Вы, конечно, наблюдали за движением облаков. Отчего, по-вашему, они не падают на землю?

— Уж верно, оттого, что им запретил Архимед, — усмехнулся барон.

— Вот именно! Но когда соберут достаточно влаги, то прольются дождем, — земное тянется к земному.

— Чем не легенда о взвешивании душ?! — воскликнул Александр.

— Так оно и есть, — согласился Гайст, — только без всякого вымысла.

В продолжение всего вечера Фёдор Петрович был словно не в своей тарелке. Много передумал он, мучительно перелистывая память, а последние слова так и вовсе заставили его вздрогнуть.

— Скажите, — произнес он, с трудом выговаривая слова, — и что ж, это клеймо — навечно?

— Ну, вы-то, мой друг, и не ведали, с вас и спрос невелик, — разгадал его настроение Гайст. — Но горе тому, кто соблазнит сих малых!

— Лучше бы мельничный жернов ему на шею повесили, — подхватил Александр, — и утопили в пучине морской!

Но Фёдора Петровича все это мало утешило, он заскучал. Казалось, что-то привычное оборвалось в нем, оставив по себе пустоту. С того вечера ничто уже более не радовало его, как прежде, и разговоры в кругу друзей, бывало так веселившие сердце, стали пусты и необязательны. Все чаще поминая Гаврилу Романовича, заглядывался он в сторону леса и все реже появлялся за общей беседой. Земное истлевало в нем, догорая последним костром, и нечто новое, неведомое звало в дорогу.

Однажды друзья по привычке собрались за карточным столом. Александр шутил, Антоша рассказывал какой-то древний анекдот, а Мишенька листал старые пожелтые календари. Все ждали князя, чтобы начать игру.

— Да где же его черти носят?! — не вытерпел наконец барон, мусоля початую колоду.

— Так, верно, у цыган, — предположил Мишенька, оторвавшись от чтения.

— Нет, вряд ли, — задумчиво проговорил Антоша, — теперь это и вовсе на него не похоже. Разве пойти поискать?

Но искать в этом просторном доме никто не решился, потому как было все равно что искать иголку в стог сена. Тут только общими усилиями припомнили, что не видали князя вот уже несколько дней.

— Не иначе как на Смородину подался, — заключил Антоша.

Александр, покачав головой, промолвил с укоризной:

— Как же это он, право, по-английски!

Если не знать некоторых особенностей края, то в доме можно было бы очень легко заблудиться: комнаты, похожие одна на другую, низкие скрипучие переходы, лесенки о трех-четырёх ступеньках, казалось, вели в никуда, составляя причудливую, порой повторяющуюся мозаику. Путешествующего ни на миг не покидало то странное чувство, что он здесь уже однажды бывал, видел этот вот колченогий стул, протёршуюся до дыр скатерть, треснувшие обои. Вот эта картина в закоптившейся от близкой печи раме, с тройкой, стаей волков и насмерть перепуганным ямщиком — ну да! Та же самая картина! Только висела она прежний раз чуть дальше, и возница чуть крепче замахивался кнутом. А так, все то ж... Странно...

И дело было в одном — во времени. Вообще же время для обитателей сих мест не было незыблемой категорией. Считалось, оно зависит лишь от желания индивида. Захочешь — и на годы унесешься вперед, прозревая то, что еще сокрыто в родовых муках, а то так заглянешь на столетия назад, наслаждаясь шумом битв крестоносцев или песней слепого певца с Хиоса. Одно только обстоятельство было тому помехой —

трудно разглядеть детали. Все равно что смотреть через запотевшее стекло, чем далее, тем более мутное. Но кому же, скажите на милость, захочется жить при такой необходимости всякий раз протирать окна? А потому и оставались по преимуществу в своем, то есть настоящем, времени. Бывало, не без этого, заглядывали: а как оно будет там, дальше? Но это так... редко.

С другой стороны, такие понятия как «вчера» или «завтра» были и вовсе лишены здесь всякого смысла. Можно было легко оставаться в пределах одного и того же временного континуума, воспринимая его как непрерывно длящееся «сегодня». А потом вдруг спохватиться: ба! Да на календаре-то уж лето! А у тебя все зима на дворе! И броситься догонять ушедших вперед товарищей.

Мастер Вил и не помышлял ни о каком путешествии по дому, как вдруг в одной из зал его внимание привлекло кукольное представление. Длинноносый персонаж в красном колпаке, звали которого не то Ванька, не то Петрушка, кривлялся и паясничал под завывание шарманки и одобрительный гогот зрителей. Сие действие начиналось словами: «Ехал на ярмарку Ванька-холуй...», после которых цензура, стыдливо отвернувшись, уж более не вмешивалась в ход спектакля.

В самый пикантный момент, когда невеста героя уже готова была пожертвовать собой до свадьбы, к чему тот ее страстно и призывал, на плечо Мастера опустилась чья-то тяжелая рука. Вил обернулся, перед ним, улыбаясь, стоял Гайст.

— Что, друг мой, соскучились по сцене? — произнес он нараспев. — Забавы черни, право же смешны, пока она себя лишь ублажает.

Мастер невольно залюбовался его иссиня-черным плащом, отороченным тонким, шитым серебряной нитью позументом. Из-под плаща же весьма недвусмысленно выглядывала шпага с серебряной рукоятью такой же искусной отделки.

Но не он один обратил внимание на Гайста. Из-за ширмы балаганчика новичка тоже заметили, и следующая реплика героя была обращена уже непосредственно к нему:

— Гляньте-ка, люди добрые, какой вояка к нам нынче пожаловал! Небось, от их сиятельства графа Бенкендорфа посланник!

Любопытствующая публика тут же обернулась в их сторону.

— А шпага-то при нем, гляди, какая! — подхватила вторая кукла. — Ты бы нам ее отдал, дядя, а?

— Да почто ж она тебе, дурень? — картинно удивилась первая кукла.

— Капусту шинковать стану! Вот зачем!

— Да с капусты-то знаешь, брат, что бывает?

И лаская слух толпы, со сцены опять полились потоки скабрзности. Тут же подскочил и босоногий мальчуган с размазанными по лицу соплями, потянул за полу плаща, загнусавил:

— Извольте шпагу, дяденька, для представленья!

— Кыш, чумазы! — цыкнул на него Гайст. — Она заговоренная! Рука отсохнет!

Мальчонка в испуге убежал, утирая сопли, а Гайст, подхватив Мастера под локоть, увлек его за собой в темные, едва освещенные сени. Вслед им еще долго неслись ругань и смех, из которых совершенно отчетливо можно было разобрать лишь одно слово — «немец».

«А ведь, пожалуй, и верно — немец!» — усмехнулся про себя Мастер, подивившись скорее не тонкости, но точности чутья.

В следующем помещении, своими размерами и формой напоминавшем манеж, они застали совсем иную публику. По двое в ряд гарцевали драгуны, мерно покачивая высокими белоснежными султанами. Следом восьмерка лошадей цугом увлекала широкую приземистую карету, мелькала позолота спиц. Неожиданно из толпы зевак,

собравшихся поглазеть на процессию, выбежал молодой человек купеческой наружности и швырнул под колеса экипажа небольшой сверток. Грохнул взрыв, шарахнулись лошади, а из опрокинувшейся кареты выпало наземь соломенное чучело.

— Стоп! Стоп! Стоп! — закричал в то же самое время другой человек и настойчиво захлопал в ладоши, призывая к вниманию. Действие остановилось. Воцарилась полнейшая тишина. — Это же черт знает что! — продолжил неведомый дирижер. — Почему у вас в карете кукла?

Тут же словно из-под земли выпорхнула дамочка весьма приятной наружности, которую портил несколько птичий нос.

— Костенька, ну это же так надо! — затараторила она. — Не можем же мы всякий раз... — Тут она перешла на шепот и, приподнявшись на цыпочки, приникла к самому уху собеседника.

— Ах, отстаньте, милочка! — отстранил ее тот. — Вечно у нас так — прямо хоть самому садись! И потом, где вы нашли этого купчишку? Это же совершенно иной типаж! Вы ему верите? А я вот не верю! Не-ве-рю! — произнес он по слогам. — И никто не поверит! Извольте немедленно заменить! — Он заглянул в свои записи, порылся в бумагах и, оглянувшись по сторонам, выкрикнул: — Гриневицкий! На сцену!

В толпе произошло какое-то движение, засуетились, забегали люди, а дирижер уже командовал драгунам:

— Подпругу подтянуть! Поправить кивера! На исходную! — хлопал он в ладоши. — Второй проезд, господа!

Меж тем как отдавались все эти распоряжения, к Гайсту и его спутнику приблизился неказистый обер-офицер из гусар.

— Добрый день, господа! — приветствовал он. — А у нас нынче манёвры!

— Видим, видим! — усмехнулся в ответ Гайст. — И замечу — весьма успешные! Кстати, — обернулся он к своему товарищу, — вы не знакомы? Разрешите представить — поручик Ржевский.

Поручик, вытянувшись, щелкнул каблуками, отчего дружно звякнули репейки шпор.

— А разве вы сегодня не играете? — удивился Гайст, заслышав призывные хлопки дирижера.

— Нет, знаете ли, не мое амплуа, — честно признался тот. — Я все больше у господина Пушкина в пьесах.

— Скажите на милость! — еще более удивился и даже присвистнул Гайст. — И в каких же?

— В «Евгении Онегине», к примеру. Слыхали? — простодушно поинтересовался он и, картинно откинув руку, продекламировал: «Надев зелёный доломан, Онегин едет на канкан!»

— Очень мило! — согласился Гайст. — Как-нибудь обязательно зайдем послушать!

Тем временем кортеж, а вслед за ним и поставленная на колеса карета уже развернулись и застыли в ожидании команды в дальнем углу залы. Дирижер вертелся в кругу своих подчиненных, отдавая последние указания. Взгляд его случайно упал на Гайста и его спутников, задержался, и по лицу пробежала нервная гримаса.

— Оленька! — сердито крикнул он куда-то в толпу, очевидно, своей помощнице с птичьим носом. — Что за глупости? Кто распорядился вызвать гусар?! И потом, этот... со шпагой. Уберите же, наконец, посторонних! — отвернувшись, он снова захлопал в ладоши. — Внимание! Внимание! Господа, мы начинаем!

Но представление вынужденно задерживалось. С разных сторон его теребили помощники с какими-то мелкими хлопотами. Кто-то кричал:

— Константин Сергеевич! Опять бомбы не подвезли! Как же прикажете начинать?!

— Разгильдяи! — орал он. — Сукины дети! И убить-то у нас как следует не могут!

Но Гайст и Мастер далее уж не слушали, двинувшись к выходу.

— В какие все-таки разные игры играет народ! — выговаривал Гайст своему спутнику, когда они покидали эту странную сцену. — А впрочем, постановка весьма убедительна, разнятся лишь детали, — с явным удовлетворением добавил он.

В следующих комнатах ничего замечательного ровным счетом не происходило, да и сами они всем своим видом свидетельствовали об упадке и нищете, либо о совершенной нерадивости обитателей. Не раз дорогу перебежали какие-то мерзкие насекомые или бросалась под ноги тщедушная, замученная детьми кошка. Откуда-то натягивало запах подгорелого супа и кислый аромат плохо постиранного белья. Тут же, за поворотом, открывалось и это самое белье на провисшей веревке, загораживая своим откровенным естеством все пространство прохода. Изредка попадались навстречу и странные юноши в казенном платье, с рано состарившимися лицами невыразимо тоскливого выражения. Они суетливо пробегали мимо, а если и останавливались на мгновение, то лишь с тем, чтобы задать какой-нибудь глупый вопрос вроде: «А вы не встречали господина Ткачёва?» или Лаврова, или Бакунина, или кого-нибудь еще в этаким роде.

Наконец, порядком уставши, путешественники решили перекусить. К их счастью, неподалеку обнаружилось соответствующее заведение с меланхоличным хозяином из обрусевших немцев и аккуратной хозяйкой в старомодном чепце. Скромный выбор блюд приятно контрастировал с окружающей нищетой. После недолгих обсуждений заказаны были отварная стерлядь и блины с икрой, а на десерт ромовый кулич и молодое вино.

Дорогою Гайст большей частью молчал, теперь же, вполне насытившись, решил восполнить упущенное. Развалившись на совершенно неподходящем жестком стуле и дождавшись, пока его спутник покончит с трапезой, спросил:

— Ну и как вам местный колорит, сударь? — В ответ Мастер лишь брезгливо передернул плечами, а Гайст, развивая мысль, продолжил: — Скоро это повсеместно войдет в моду, как табачок при Петре. Ждать недолго. Так что вы, мой друг, аккурат застанете самый расцвет мракобесия! — и широким взмахом руки прочертил в воздухе дугу, словно объемя и заключая внутрь все неподатливое и сопротивляющееся пространство, а Мастер, проследив взглядом за этим движением, неожиданно наткнулся на картину, висевшую за спиной хозяина и почему-то остававшуюся до сих пор незамеченной.

Странная это была картина. Некий воин, возникая из облаков на стремительно летящем коне, наносил смертельный удар чудовищу, выкованному из стали и ошетилившемуся сотней орудий. Из разорванного чрева этого Левиафана горохом рассыпалась толпа человечков и в панике разбегалась кто куда. «Чудо Георгия о бронепоезде», — гласила подпись к картине. Гайст, поймав удивленный взгляд своего протеже, многозначительно покачал головой.

— Великий здесь художник подрастает! Но имя вам открыть не вправе я, — и, печально улыбнувшись, добавил: — То ли еще ждет вас, мой друг! Ныне наступает век новый, технический, а машина, как известно, дороже человека, — загадочно заключил он. Затем, перегнувшись через стол так, чтобы слышать мог лишь собеседник, таинственно прошептал: — Уже и новая Библия пишется!

Последние слова Мастер воспринял буквально и в недоумении спросил:

— Как?! Разве прежняя себя уже исчерпала?

— Конечно же нет! Хотя, впрочем, многие именно так и полагают.

Любопытный хозяин, как и положено всякому добропорядочному гражданину, давно уже прислушивался к их словам, делая вид, что протирает посуду. Заметив это, Гайст не преминул обратиться к нему со словами:

— Скажите, любезный, а у вас есть Библия?

Тот вздрогнул и от неожиданности чуть не выронил тарелку.

— Нету, — едва слышно пролепетал он, боясь не угодить важному гостю. — Только Священное Евангелие имеется. А вам почто? Вы, часом, не из патриаршей канцелярии?

— Нет, я из другой, — ухмыльнулся, успокаивая его, Гайст. — Видите ли, мой друг, — обернулся он вновь к Мастеру, — в отличие от просвещенной Европы, здесь Библия никогда не была под запретом. Впрочем, это вовсе не означает, что всяк удосужился ее прочесть. В Библии, конечно же, полно темных мест, но и в мутном зеркале истории далеко не всегда отражается истина. Знаете ли вы, к примеру, о чем теперь спорят здешние философы? «Откуда пошла есть Русская земля?» — не больше и не меньше! Как тут не вспомнить беднягу Архимеда, до самой смерти защищавшего свои песчаные формулы?

— Но разве знание истории не делает нас мудрее?

— Что толку в мудрости, почерпнутой из книг? Книжная мудрость — чужая мудрость!

— А для кого ж тогда, позвольте спросить, пишутся книги?

— Будто вы не знаете. Конечно же для себя! Скажите на милость, кто станет читать книгу, написанную для других, — что в ней может быть интересного?

Неизвестно, куда бы завел их спор, но в этот миг дверь распахнулась, и на порог протиснулся полицейский пристав. Пот ручейками стекал по его одутловатому лицу, а из-под руки выглядывал давешний сопливый мальчишка.

— Этот? — нахмурившись, спросил грозный страж, ткнув пальцем в Гайста.

— Он самый, — кивнул маленький иуда.

— Извольте предъявить документы, гражданин! — рявкнул пристав и, не дожидаясь ответа, напирая животом, понес мелкой скороговоркой: — Почему при шпаге?! Вы офицер? Дворянин? Куда следуете?

— Послушайте, голубчик, — поднялся ему навстречу Гайст, — вы из какой управы? Впрочем, не надо, не отвечайте. Вы ведь при исполнении, не так ли? — Тут он панибратски уцепил его за лацкан, отчего тот сразу же сник и присмирел подобно злющей дворовой собачонке, которой сунули под нос колбасу. А Гайст тем временем вкрадчивым голосом продолжил: — Так не откажите в любезности, откушайте с нами. Выпейте вина или, может, хотите водочки?

Гайст сделал в воздухе неуловимое движение, а догадливый хозяин уже собирал на стол запотевший графинчик и новую смену закусок.

Пристав не заставил долго себя уговаривать. Постеснявшись для виду, он грузно опустился рядышком и, пробормотав что-то вроде «Благодарствуем!», крякнул, освежив себя стаканчиком водки.

Человеку постороннему, непросвещенному трудно даже вообразить, сколько же всякого добра вмещают в себя иные желудки. Другому и на неделю достанет того, что этакий проглотит в одночасье. Тут уж, как говорится, только подавай! Гайст и Мастер глазом моргнуть не успели, как незванный гость уж и графинчик опорожнил, и расправился с увесистой волжской рыбиной.

— Вы, ваша милость, уж извиняйте за бесцеремонность — не за того принял! — добродушно ворчал пристав, набивая рот очередным паштетом. — Развелось тут у нас всякой швали немерено, ровно у Христа за пазухой. Прости, Господи! — торопливо перекрестился он. — Всяких студентишек недоученных, писак... Все бы им по европам бегать, понимаете, да чужие камзолы примерять.

— Знаем, знаем! — сочувственно покачал головой Гайст. — Нам тоже нынче докучали.

— А вы человек солидный, это завсегда отличишь, — продолжал пристав. — У-у, бестия! — замахнулся он на мальчонку, который все еще околачивался в дверях. — Так что, ежели чего, — обернулся он опять к собеседнику, — ежели

какая обида, так прямо к нам! Милости просим! Очумелова спросите, Аполлона Григорьича, — ткнул в свою широкую грудь. — Вам всяк покажет!

Он еще покопался вилкой и в соленых маслятах, и попотчевался предложенным телячьим языком. Не отказался и от новой порции водки, а закусив напоследок десертом, уж стал прощаться — увы, любое чрево не бездонно! С трудом отвалившись от стола, он обернулся было наподдать противному мальчишке, но шалопаи давно уже задал стрекача.

— И... эх ты!.. — собрался выругаться пристав, но отчего-то передумал.

Тем временем Гайст с любезнейшей улыбкой рассовывал ему по карманам конфеты.

— Это еще зачем?! — оторопел тот. — Ну, право, лишнее.

— Детишкам, детишкам! Домашних угостите! — вкрадчиво убеждал его Гайст и при этом легонько похлопывал, подталкивая к выходу.

— Премного вам благодарен! — лепетал разомлевший пристав и пятился к дверям.

Вернувшись к столу, Гайст выпил вина и, кивнув на дверь, грустно пошутил:

— И всегда-то на Руси любили чиновников. Впрочем... — и, поразмыслив, добавил: — пожалуй, еще дураков и военных.

— Да где ж их не любят? — возразил Мастер.

— Может быть, может быть... — проговорил задумчиво Гайст. — Однако смею вас уверить, в России к ним любовь особенная.

— Вы-то откуда про это знаете?

— Из первых уст, мой друг! Из первых уст! Скоро вот Николай Васильевич к нам пожалуют — ба-альшой знаток по этой части.

Они еще долго сидели на обращенной к лесу веранде, наблюдая, как тихо угасает вечер и стрижи размашистыми кругами чертят в небе незыблемые формулы бытия. И думалось объять всю прозрачную ширь и раствориться в ней, и улететь вслед за птицами. И нежная истома разливалась в груди, и сладко шемило сердце.

— Sow the Peace in this hour is serene...<sup>1</sup>, — едва слышно прошептал Мастер.

— Я гляжу, вы еще не вполне забыли родной язык? — улыбнулся Гайст.

— Я лишь теперь начал его вспоминать, — улыбнулся Мастер и, потянувшись, будто и впрямь собрался вот-вот улететь, спросил: — И долго ли мне здесь еще томиться?

— Покуда дух душой не обрстет, — промолвил Гайст.

Впрочем, был ли то вечер иль утро — неважно. Как неважны и год, и сроки. Все зависело лишь от желания, ибо, как уже было сказано, время не являлось незыблемой категорией, оставаясь до поры привилегией страждущей света души.

«Мой милый друг! — примерно в то же самое время писал Александер своему незримому собеседнику. — Право, какая же это душевная мука — творческое бездействие! Одно и отвлечение только что встречи да проводы. Давеча будто еще провожал Гаврилу Романовича или вот Мишеньку встречали, а уж и год другой, и порядки у нас новые. Мишенькин протеже, коего с легкой руки Фёдора Петровича окрестили Гайстом, что ни день нам смотрины устраивает. Тьфу ты, господи, как же я от родного языка поотвык! Не смотрины, а смотры, конечно. И вот представь картину: стылый вечер, туман над рекой, птица какая-то кричит в траве беспокойно. А наш полководец, точно Фридрих прусский — Чёрный герцог<sup>2</sup>, в ботфортах, в треуголке и при шпаге делает обход новоявленному войску. Сказать, кто в новобранцах?

<sup>1</sup> Сейте мир в этот час безмятежный... (англ.).

<sup>2</sup> Фридрих Вильгельм Брауншвейг-Вольфенбюттельский и Эльский (1771—1815). Генерал прусской армии, один из наиболее известных немецких полководцев эпохи Наполеоновских войн, командир Чёрного корпуса, носивший прозвище Чёрный герцог.

Изволь! Наперво Елисей-царевич и с ним богатырей семеро. Всякий раз добираются издалека — из каких-то муромских лесов дремучих. Но приходят, однако, первыми. Другие еще — могучий Руслан сам-друг с карлою Черномором. Этот второй смешон особо — бороденка его так и не отросла с тех пор; сказывают, князь Владимир не дает ей воли — выщипывает. Ну как, наподобие Самсона, волосы отрастут? Глядишь, еще и за старое примется, да на стол киевский сядет! (И надо же было его в Киев определить, из колдуна да в шуты — вот незадача! Но, впрочем, и поделом.) С ними и другие подходят: Рогдай, Фарлаф, Ратмир и Финн тоже, но те стоят не гордо — поодаль. После князь Гвидон с батюшкой своим царем Салтаном — чудо хороши оба, но не воинственны вовсе, будто простые миряне. И уж в самые сумерки, когда и звезды видны бывают, воды закипят-забурлят, выходит на берег дружина морская числом тридцать три. Эти вечно опаздывают, зато с ними потеха всегда случается. И виной тому их старший — дядька Черномор. Ты же помнишь, друг мой, как писал первого, а как второго, не знаешь. Была у меня мысль христианская дерзкий побег устроить — негоже ему, хоть и басурманин, до скончания века в колпаке шутовском томиться. Да не задалась история. Ладно. Подумалось, народ наш пытливый, догадливый, сам поймет что к чему, откуда он в море взялся. Ан нет! Не случилось. Так и стало их двое. Вот теперь оба и дуются. Что ни встреча — такие рожи корчат друг дружке, что хоть святых выноси! И бранятся, и лаются! Умора! Один лишь Гайст на них управу имеет. Гаркнет бывало: "Разговорчики на плацу!" — так, что листья с осин посрывает! И ничего, затихнут. Да и все-то войско не шибко он жалует. Это я ведь лишь про свою "гридню" сказал, за кого отвечаю. Иных немало собирается. Так Гайст их иначе как увальнями да деревенщиной не называет. Как зачнет все эти эволюции полка — движение вперед, назад, поворот на месте, построение в колонну, в каре — я-то мало в том смысле, а эти слушаются, исполняют. Таков уж наш полководец, даром что немец! Вот тебе и оксюморон, кстати: русский немец — держи на память!»

Тем же вечером или день-другой позже — что нам до сроков? — в зале за столом собрались четверо. Барон по обыкновению скучал, Мишенька не в сотый ли раз пересказывал Александру про Пятигорск, а Гайст с мрачным видом раскладывал пасьянс из засаленной колоды. Был в их компании еще и пятый — Мастер Вил, но этот, как и предсказывал Гайст, оставался до поры незримым. Потрескивали свечи, приبلудный кот тщательно вылизывал лапу, пристроившись на подушках, и вроде бы ничего необычного не сулил этот вечер, но напряжение, как перед грозой, нарастало.

Наконец Гайст в раздражении швырнул колоду на стол и выругался, чего прежде за ним никогда не водилось. Тут только друзья разглядели, что никакой это был не пасьянс, а некий неведомый им план или даже позиция. Центр стола оккупировали карты исключительно черной масти, причем в середине толпились старшие, оставляя младшим потертые запятнанные края.

— Надо же! Какой любопытный узор! — улыбнулся барон, на мгновение вынырнув из теней своей меланхолии.

— Узор? — хмыкнул Гайст. — Пожалуй что и так. Такой же вот замечательный узор сложил из своих нукеров царь Дарий при Гавгамелах и просчитался. Александр Македонский не оценил его восточный орнамент.

— И что?

— И стер его художества в прах, вот что, — махнул рукой Гайст, рассыпая карты по полу.

— Очень любопытная стратегия! — с совершенно серьезнейшим видом пробормотал Александр. — Я полагаю, и вывод последует?

— Не прячь кулак за спину, коли собрался им ударить, — вот вам и весь вывод! — парировал Гайст и как-то по-особенному глубоко вздохнул. Видит бог, что-то необычное с ним творилось сегодня, так что друзья невольно переглянулись.

— Вы полагаете, что Дарий, ну... или кулак Дария был стеснен собственными же войсками? — вмешался в их диалог Мишенька.

— Именно! Именно так, друг мой, причем, в обоих случаях — и при Иссе, и при Гавгамелах. Чем и не преминул воспользоваться Александр Великий.

— Прекрасно, только нам-то все это зачем? Пошто нам древние персы и греки? — пожал плечами Антоша.

— Опыт! Опыт, *mein freund*<sup>1</sup>, и ничего более. К сожалению, я вынужден признать, что у нас даже такого кулака нет, как был у Дария. Уж мы бы, верно, нашли, куда его применить! Не правда ли, господа? — и он заговорщически подмигнул всему собранию, но вдруг, спохватившись, словно только что теперь вспомнил, обернулся к Александру. — А где ваша Голова, сударь?

— Моя? Моя при мне, — удивился тот и даже обхватил ее руками для пушей убедительности.

— Да нет, зачем же ваша? На что она согдится? Разве что кубок для вина сделать, — расхохотался Гайст и будто бы пнул под столом невидимого оппонента.

— Ах эта! Голова! — догадался наконец Александр. — Должно быть, в поле, где Руслан оставил.

— Надо бы послать за ней, но кто же сможет? Кто? Пожалуй, я сам.

— А можно с вами?! — Мишенька вскочил в таком возбуждении, что даже щеки налились пунцовым. — Давно мечтал увидеть! Как-то и снилась даже!

И снова Гайст прискорбнейше вздохнул, как бы предваряя отказ, и по лицу его пробежали и горечь, и печаль, и скорбь одновременно.

— Нет, друг мой, не в этот раз. Тут нужно тет-а-тет. Такое дело... Спешу объяснить: введена ли вам вся глубина отчаяния и одиночества сей мрачной фигуры? Изо дня в день, из века в век — один. Да что века! Навечно! Попробуйте-ка на язык это словцо. — Он потянулся, хрустнув суставами и проворно прошелся по комнате из угла в угол. — Представьте узника в темнице: есть руки-ноги, что не веселиться? Коль захотел, так встал. Устал — так сел. А тут ни рук, ни ног, ни мощи в теле. Ты заперт в голове! Все бесполезно! Простите мне высокий штиль любезно, — и он откланялся, будто артист на сцене. — Нет-нет, — все в той же прежней задумчивости повторил он, — тут надобно уметь слепить диалог.

К особенностям здешнего края следует прибавить еще и то, что все местные дороги — да нет, пустое! — дорожки, а скорее даже тропинки имели вид растрепанной в середине нити, один конец которой упирался в шаткие покосившиеся мостки на реке, имени которой никто толком не помнил, а другой уводил к Смородине. В сердцевине же, и особенно вокруг дома, волоски этой нити расходились и сходились, путались, терялись, обрывались и возникали вновь, словно бы ниоткуда. Да и немудрено, ибо ходили по ним редко. Так разве, по какой-нибудь случайной прихоти или нужде. Вот по одной из таких тропинок и отправились Гайст с Мастером на поиски затерявшейся головы витязя. День стоял обычный для этой местности — пасмурный, невзрачный и отчасти дождливый. Поначалу тропа вела мелколесьем черемухи и ольхи, ныряла в ложе ручейка по переброшенной паре жердей или взбегала на холм, густо поросший малиной. Но чем дальше, тем круче забирала она в коренник — старый сырой ельник, вросший седыми лапами в мох. Здесь, в самой глуши, под непроницаемым пологом хвои и лишайников мерцали лишь мутные звезды княжника. Гайст остановился, по-звериному принюхался к воздуху и заговорил:

— Здесь можем мы потолковать приватно, Мастер Вил, не опасаясь никаких ушей. И то отрадно, что нет в лесу врагов.

— Уж так и никаких?

---

<sup>1</sup> Мой друг (*нем.*).



— Так повелось здесь — враги приходят с поля, не леса. Лес не враждебен, хоть и полон тайн. Тут живо то, чем русский дух настоян. Настоян лесом он — не полем. Свои забавы видит в нем язык. К примеру, леший — лесовик, хозяин леса. Или кикимора, живущая в болоте. А ежели в воде, так водяной. В стране еще какой допустят вас до середины леса и шею не свернут? Не тут! А здесь все строго — ходи везде, но ничего не трогай. И, если углядел какую вещь, перекрестись сто раз и следуй дальше. А коли встретишь на пути кого, спроси, кто он? И сам представься. Не спорь ни с кем, не задавайся. Равняйся, будь хоть с волком, хоть с лисой. И нету в этом фальши никакой. Но стой! Идет к нам кто-то!

Сгорбленная старуха, лица которой не разглядеть, возникла перед ними, словно бы вышла из-за соседнего дерева.

— Ба! Вот так встреча! И ты тут ходишь? — невольно воскликнул Гайст.

— По виду джентльмен. Как звать, не знаю. А не заглянешь ли ко мне на огонек? — проворчала та неприветливо. — Тут недалече.

— Отстань, я несъедобен, — поморщился Гайст. — Нужна мне Голова. Дорогу знаешь?

— Своей, что ль, мало?

— Не просто голова, а та, с которой воевал Руслан.

— Эх, что за люди! — фыркнула старуха. — Все им — надо! Надо! Нет чтобы просто посидеть, потолковать... Послушать песен старых, посудачить о подвигах давно минувших лет, сигарку выкурить да хлопнуть стопку.

— Кончай, плутовка, хитрости свои, не до того мне нынче, — оборвал ее Гайст.

— А это кто с тобой незримый рядом? — насторожилась она и едва не ткнула своей сучковатой клюкой в Мастера. — Его я очертанья смутно вижу — не разгляжу никак. Румяный, вроде. Нерусским духом пахнет от него.

— Не видишь, значит надо так. Он между смертных не бывал еще.

— Тогда ему негожи наши сказки. А ты послушай, коли хочешь знать. Есть в поле камень — слов не разобрать, но если потрудишься, так прочтешь: «Свет светит тем, кто ищет света». И, если слева камень обойдешь, есть просека, как трещина в лесу. Она для тех, кого манит покой. Там и найдешь того, о ком спросил. Да, чур, смотри направо не сверни — она для света.

Старуха исчезла так же, как и появилась, будто просто зашла за дерево. Гайст даже сделал пару-тройку шагов, чтобы убедиться в этом.

— Вот ведьма чертова! Бывают же старухи — всю душу вытряхнут! А после тобой же и закусят, — мрачно пробормотал он.

— Кто такая? Прежде не говорили, вроде, про нее?

— Всего не скажешь. Мало ль тут чудес? Чем край скучнее, тем поверий больше хранит народ по старым сундукам. Ее Ягою кличут. Навроде ведьм макбетовых она. Но все ж отлична — навсегда одна, она на страже царства мертвых, как привратник. И в мир теней чтоб не сойти до срока, совет один — не спасовать пред ней. Поддашься на уловки — и пропал! И поминай как звали! Знавал я многих женщин, которые сочтут за идеал умение такое. Но пустое, скажу я, друг мой Вил, уменье это. Что за награда приворожить им нашего собрата? Ты удержать сумеи!

— Да, случай редкий, соглашусь. И даже не возьмусь такие ставки делать.

— Один на миллион, а то и реже! Но отвлеклись мы, Мастер Вил, от дел. Пора нам к камню.

Порой попадаем мы в такие обстоятельства, что не решаемся выбрать: куда идти? Что делать? И думается: кто бы нам указатель какой поставил, поворотил нас на верный путь. Да только редко наши сомнения к добру приводят. Задайся Гаврила Романович подобным вопросом в своем последнем походе, неизвестно, к чему бы его

эти размышления привели. Но ноги сами знают дорогу, а все сомнения, они от болезни ума происходят и лишь сбивают с истинного предназначения.

Там, где Александер силился прочесть слова на камне, влево вела скромная, едва приметная тропка. В отличие от торной правой, была она совсем не примята: редкие души не тщились вернуться к свету. Мастер невольно остановился перед этой трещиной в лесу, пугаясь ступить хоть шаг.

— А что за души в этой стороне? Скажи, кто это? — прошептал он.

— Здесь те, чей путь земной превысил меру божьего страдания, кто кару незаслуженно понес и оттого в обиде на судьбу, кто в наказание изгоем стал, кто изгнан из народа, самоубийцы всяческого рода. Кто не увидел свет в конце земной юдоли, тот света не достоин до поры.

— И долго ль им томиться в сей неволе?

— Вот это не скажу, не я судья игры. Одно лишь твердо знаю: природа мироздания такова — душа получит то, что заслужила. И если не по росту стремена, то виноват не всадник, а кобыла.

— Но разве соразмерность не царит там, где небесные сияют океаны?

— Нет, не царит. Случаются изъяны. Но правило одно на свете есть: кто глубже пал, тот выше всех воспрянет.

В этом краю леса царила особая тишина. Не то что птица не прокричит — ветка под ногами, и та не хрустнет. Мертвенное беззвучие пугало сильнее любого самого страшного крика.

Гайст шел впереди, опустив голову и, не обращая внимания на эту сгустившуюся вокруг тишину, что-то бормотал себе под нос. «Я давеча не сказал, но он понял, — можно было разобрать некоторые из его слов. — Я видел, что понял. Не мог не понять. — И неясно было, сам ли с собой он разговаривает или нарочно, чтоб Мастер слышал. — Он даже имени его не удостоил! В безвестности, в безвременье, в плену у головы своей. — Некоторые слова повторялись, множились, будто он все время возвращался к одной и той же теме: — Я должен был сказать, должен. Нет, что теперь исправишь? Пустое. — И через какое-то время опять: — Нет, он, конечно, понял. На участь страшную обрек! — Несколько слов было совершенно не разобрать, так тихо их произнес Гайст, и вдруг, уже гораздо громче, отчетливее: — Он точно с Прометея слепок снял! Слепил героя, будто Фидий».

— О ком это вы толкуете, сударь? — решился наконец спросить Мастер.

— О Голове. О ком еще? — откликнулся тот. И, не дожидаясь новых расспросов, воскликнул: — Дружище Вил, хочу сказать, — творец всегда в ответе, в ответе за творение свое! И коли не явилась Голова на встречу, то даже не могу себе представить всей тяжести ее обид, запекшихся в груди, как рана, отчаянья представить не могу, как воронья на теле великана.

— Послушает ли вас? Вернется?

— Вот это и не знаю!

Некоторое время они еще шли лесом, пока наконец деревья не расступились и перед ними не распахнулось поле во всю свою необъятную ширину, до горизонта. И сколько хватало глаз, его устилала кости — грязно-белые, как пена прибоя, с пустыми глазницами черепа, проросшие травой. На середине поля, на самой его макушке, возвышался холм, точно древний могильник.

— Ну, вот и добрались! — обронил Гайст.

Некоторые разумные люди полагают, что как театр начинается с вешалки, так и Европа начинается с Львова или Риги, или даже Кракова. Может, оно и так, но любопытно знать и другое: откуда начинается Россия? То есть, ответить на вопрос древнего автора — «Откуда есть пошла земля русская?», но не с исторической, а именно с географической точки зрения. Исходя из логических размышлений, следовало

бы предположить, где началось одно, так там же, верно, закончилось и другое. Но это лишь на первый и самый поверхностный взгляд. Ибо на самом деле никаких таких границ нет и быть не может. Одно проникает в другое, как вино в мясо, и это уже не вино, и уже не мясо, а некий кулинарный изыск с названием шашлык.

Размышления барона на эту злободневную тему самым неожиданным образом были прерваны выкриком Александра:

— Господи! Опять крыса прошла! Да что же это такое?! Куда все коты подевались?

Коты, по меньшей мере два из них, с самым наглым видом возлежали на подушках оттоманки и ни во что такое не вмешивались.

— Вам бы на манер господ Гримм про крысолова сказочку написать, — усмехнулся Антоша. — Глядишь, и у нас бы мыши перевелись.

— А немецкую дудочку можно вполне заменить на пастуший рожок, — подхватил Мишенька.

— Нам бы еще чистоту немецкую завести не мешало, — хмыкнул Александр. — Ее никакими сказочками не пропишешь.

— Отчего же?! — едва ли не перебил барон. — Очень даже пропишешь! Именно так и прописывалась чистота в немецких курфюршествах!

— Это когда не только сам убирай, но и за соседом следи?

— Именно! А за недоносительство лишаешься доли собственности!

Александр заливисто рассмеялся.

— По мне так уж лучше крыс разводить, чем кляузников.

— Jedem das seine! — рассмеялся в ответ Антоша.

Пожалуй, на этом их разговор и закончился бы, и каждый продолжил бы заниматься своими делами, ибо к картам сегодня никого не тянуло и особого повода выпить не случилось, но тут погасшие было угли беседы расшевелил Мишенька.

— Господа, — воскликнул он, — а что это у нас все про немцев сегодня? Или нынче праздник какой? Может, день Реформации?

— Кстати, и главного немца давно не видать. Куда это наш Гайст запропастился? — поддержал его с неожиданной стороны Антоша.

— Так давеча, вроде, видали? — удивился Александр.

— Что вы! Что вы! — замахал на него руками барон. — Третьего дня было! Никак не позже!

— Разве? — пожал плечами Мишенька, — а мне казалось, уж с месяц прошло.

Тут же общими размышлениями пришли к выводу, что, верно, он теперь на плацу пропадает со своими потешными войсками. «А скоро ему и еще работы прибавится», — озадачил друзей барон, так что они в недоумении переглянулись — как это?

— Давненько вы, видать, в календарь не смотрели, — загадочно хмыкнул тот. — А на подходе наш таинственный Карло!

— Как это? Наш Николая? Итальянец? — в крайней степени возбуждения вскочил Александр и безжалостно вцепился в свои кудри. — Что ж вы раньше молчали, дражайший Антоша? А я-то, дурак, и забыл совсем!

— Нет, ну а чего уж так волноваться? — засмутился барон. — Ну, прибудет и прибудет. Встретим, конечно.

— Да нет же, вы не понимаете совсем! Это ж такое!.. Такое... — он все никак не мог успокоиться и принялся выхаживать кругами по комнате, точно пойманная на крючок рыбина. — Надо ж не просто встретить! Надо же придумать что-нибудь! Этакое entrée<sup>2</sup>! Этакое entrer dans la peau de son personnage<sup>3</sup>!

<sup>1</sup> Каждому своё (нем.).

<sup>2</sup> Выход героя на сцену (фр.).

<sup>3</sup> Войти в роль (фр.).

В задумчивой рассеянности он плюхнулся на кушетку, придавив одного из задремавших было котов.

— Я знаю! Знаю! — вскинулся вместо него Мишенька. — Надобно ему тут вроде Малороссии устроить с тыквами, с кавунами, с горилкой, с варениками.

— Эврика! — треснул себя по лбу Александер и сгреб виновника идеи в охапку, облобызав в обе щеки. — Именно Малороссия! Именно ярмарка!

— Сорочинская ярмарка, — уточнил из своего угла Антоша.

— Разумеется! — согласились хором друзья. — Разумеется, Сорочинская!

— А не сказать ли, кто нам в этом поможет? — лукаво улыбнулся барон. — Поэт комедий шумных колкий<sup>1</sup>, — хитро сверкнул он из-под очков.

— Сан Саныч?

— Ну, конечно! Их сиятельство князь Шутовской!

Тут же послали за князем, но явился тот довольно нескоро и в сопровождении двух певичек. Или танцовщиц?

Был он не то чтобы богатырских кровей, но грузен необычайно, на голову выше всех, и занял едва ли не половину комнаты. Коты, почуяв угрозу, немедленно разбежались.

— Вот, — повел он рыцарской рукою, опустившись в тревожно скрипнувшее кресло, — спешу представить: мои протеже — Люси и Марго. Ну просто дьявольски талантливы! — причмокнул он.

Обе танцовщицы — или все же певички? — хихикнули, сделали книксен, после чего опустились на оттоманку.

От венгерского гость вежливо отказался — сперва о деле — и обвел компанию ожидающим и несколько насмешливым взглядом.

— Нуте-с, чем могу служить, господа?

Возникло некоторое замешательство — кому объяснять? В результате барон, по праву старшинства возложив на себя эту миссию, принялся излагать суть дела.

— Господи, как же я не угадал?! — хватил кулаком по столу их сиятельство, не выслушав до конца. — Ведь и сам подумывал о чем-нибудь этаким, — покрутил он в воздухе пятерней. — Представляете, как мне повезло? Я же смотрел премьеру его «Ревизора» в Александринском — шестой ряд партера, пятое кресло. Хохотал до упаду! Городничий — Ваня Сосницкий, мой ученик! — гордо ткнул он себя в грудь большим пальцем. — Хлестаков — Коленька Дюр, мой ученик! — отвесил жеманный полупоклон. — А как играл! Как играл, сукин сын! Я отбил ладоши! Ведь я ж их сопливыми вьюношами помню! — Он устало обтер испарину с широченного лба и, покачивая головой из стороны в сторону, задумчиво и нараспев произнес: — Какой талант, ах, какой талант! Талантище! — Но через минуту его настроение коренным образом переменилось, и он скомандовал: — Теперь давайте вина, господа! Надо закрепить наш почин. Уж мы придумаем, мы придумаем встречу! Не ударим в грязь лицом!

«Свет мой, ангел, — писал тем же вечером Александер своему тайному другу, — с сегодняшнего дня мы станем репетировать, репетировать... Впрочем, пока еще ничего не ясно. Не знаю даже, какая роль достанется мне. Все держится под большим секретом! Все в руках нашего дражайшего Сан Саныча. Доподлинно известно лишь одно — это будет точно "Сорочинская ярмарка"! Думаю, может, и не сама ярмарка, а некая буффонада или даже бурлеск. Кажется, я уже вижу все ее пестрые краски, слышу дивные звуки! Вся надежда на нашего чудесного режиссера».

---

<sup>1</sup> «Там вывел колкий Шаховской/ Своих комедий шумный рой» (А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»).

Что в русском поле? Пустота, неприютность да ветер из края в край, и не за что зацепиться глазу, не на чем ему успокоиться. А вышел бы в поле художник и загляделся. И подумалось бы ему, как показать всю ширину и необъятность таких просторов? С чем их сравнить? И вот уже живописец сажает на нем дерево — аккуратно посередке. Сосну, а еще лучше дуб — ветвистый, могучий, под которым впору отдохнуть целому стаду вместе с пастухом. Ухватится за дуб пытливый глаз зрителя и считает — сколько, к примеру, отложится его высота в ширине поля? Или так: а жил бы такой же, как дуб-великан, то за сколько шагов дошел бы до горизонта? Но вместо дерева перед спутниками предстал холм, и черная туча воронья взметнулась с вершины при их приближении. Тут только открылось глазам то, что силилось прежде представить их воображение. Под тяжким шлемом дремала голова великана, вся в бесчисленных шрамах от ударов палиц, копий, мечей. Какие ей снились сны? Какие сраженья вспоминала? Сколько витязей пали бесславно, уязвленные ее величием? И только ветер, только бескрайний простор вокруг. Гайст, остановившись поодаль, прокричал:

— Приветствую тебя, великий воин!

Не сразу ответила ему голова, не скоро поднялись тяжелые веки.

— Будь здоров и ты, хоть мало в том величья, — дуть на врагов или плевать им в спины, — пробасил, казалось ему, сам воздух.

— И все же хотел бы я уметь так дуть, с такой же мощью! И силу рук тогда не надо даром тратить.

— А я бы лучше умел ходить, как ты, или махать руками.

— Мы все за что-то платим. Я неприкаян вечно — ты прикован к месту. Порой бывает жалок жребий наш. Но выбрали не мы такую участь.

— Ты воевать пришел иль просто посудачить? Коль драться, так дерись! А жалость оставь свою для песен матерей.

— Не воевать, пришел к тебе я с делом. Просить о службе ратной против зла.

— Что ж, говори. Возможно, мы сойдемся.

— Страну родную готовятся поработить враги. Уже дозор их выслан, и новых сил несметное число вот-вот прибудет.

— Откуда про дозор известно?

— Я видел сам. Готовят царевубийство гнусное они. И это лишь начало их деяний. Потом придут другие, и начнется такое светопреставление на Земле, что мертвым позавидуют живые! Тем худшие наступят времена, чем больше их число пропустим.

— И как мы их не пустим?

Гайст обернулся к Мастеру и вполголоса проговорил:

— Ты слышал? Сказал он «мы», а значит, дело в шляпе! Считаю, теперь он наш боец! — И снова обернувшись к Голове, продолжил: — Есть способ верный. Я расскажу, как с ними воевать. Но не сейчас, еще не время нам раскрывать умения свои. И коль ты с нами, то должен я тебя предупредить: среди наших войск и брат твой будет тоже. Он не злодей теперь, забыл свои привычки. К тому ж без бороды он просто карла, и в шутовском обличье дни свои итожит.

— Что мне до брата? Нам не о чем друг с другом говорить.

— Я знаю, пред тобой его вина не смыта.

Голова тяжело вздохнула в ответ.

— Не смыта. Но не мне его судить.

— На том и порешим! Пришлем мы за тобой, как только станет ясно, где оборону нам установить. А здесь им не пройти. К тому ж здесь слишком грязно, — пнул он подвернувшийся под ноги истлевший череп.

Сколько ни говори, а местность эта, хоть и слыла вполне населенной, но оставалась совершенно не познанной. Доведись какому-нибудь ученому немцу посетить этот унылый край, уж он бы, верно, оставил нам самый дотошный план сих

туманных мест. Уж он бы исхитрился придумать такой масштаб, чтоб совместить в одном чертеже здешние сказочные пространство и время. И не было бы у нас нужды всякий раз хвататься за голову, пытаюсь отыскать там Смородину. Заглянули бы тогда в хроники и прочли: да вот же она, в Олонецкой губернии прописана, а до того еще в Олонецком уезде значилась, а еще того ранее в Обонежской пятине протекала. Да вот беда, не случилось такого немца. То есть немцы-то, конечно, бывали, но по большей части нелюбопытные. А если и нашелся какой, то быстро обрусел, забыв о своих исконных талантах к черчению, и подпал общему очарованию меланхолии места — этакой *Ding an sich*<sup>1</sup>.

От печальных полей забвения повернули Гайст со товарищем на поиски небесного пахаря Микулы Селяниновича.

— Он тот, кто нам поможет богатырей в один кулак собрать, — такими словами отрекомендовал его Гайст Мастеру.

— Он им хозяин?

— Нет, не хозяин, но народный дух лишь в нем сполна свою печать оставил.

— Так, стало быть, он вождь?

— Нет, и не вождь. Но он зазнайству их всегда предел поставит.

— Так значит, богатырь?

— Нет, не богатырь — простой селянин, но он любого за пояс заткнет. Не богатырь, но вот соху его из всей дружины вряд ли кто подымет.

— Так кто же он?

— Сказал же — пахарь!

А возле дома на ту пору происходили совершенно иные события. На скорую руку возводились бутафорские мостки, собирались прилавки и прочие атрибуты, могущие служить декорацией к торговому дню ли, к Троице, к выборам уездного предводителя, да в общем, к чему угодно. Тут легко можно было застать многих обитателей, коих в обычное время не больно-то и увидишь. Впрочем, и держали они себя не вполне привычным образом. К примеру, Мишенька мог запросто заспорить с каким-нибудь Иловайским о ценах на кукурузу. А поручик, переодевшись в партикулярное и забравшись на бочку из-под сельди, вдруг начинал декламировать, безбожно перевирая и переставляя слова: «Чудесен Днепр при всякой погоде, и редкая птица прилетит с середины его...»

— Вы бы хоть текст подучили, милейший, — морщился Сан Саныч, на что тот конфузился и принимался усердно расчесывать затылок.

Выглянул бы с утра в окошко какой-нибудь рядовой обыватель и обомлел — что за представление? Но здесь редко глядели в окна.

— У нас тут что? — взывал новоявленный режиссер к массовке. — Вавилонское столпотворение? Или, может, переход Суворова через Альпы?

— Скорее переход евреев через Красное море, ваше сиятельство! — прыскал в кулак кто-то из друзей.

Через мгновение Шутовской распекал кого-то еще и совсем в другом конце сцены:

— Помилуйте, Александер! Ну кто же так ходит? Писать книжки у вас получается гораздо лучше. Надо научиться теперь писать ногами. Да из вас такой же цыган, как из меня попадья! Вы совершенно не похожи на цыгана! Вы видели, как ходят цыгане?

И, несмотря на грузность, он принимался выделять некие замысловатые па, демонстрируя то, что на театральном жаргоне называют походкой цыгана.

— Вот еще! Ногами писать... — бурчал себе под нос Александер. — Что ж я, ученая обезьяна какая?

<sup>1</sup> Вещь в себе (*нем.*).

Но пуще всего доставалось прислуге. «Голубушка, — увещевал Сан Саныч какую-нибудь пухленькую модистку, — разве это вышиванка? Теперь еще не сделался театр песни и пляски. Это вы, милочка, малость того... поспешили-с». Дождавшись нужной слезы, тут же сдавал на попятную, шепча на ушко: «Ужо загляните ко мне на вечерок. Посидим, потолкуем. Поразглядываем картинки в альбоме Уорта<sup>1</sup>. Аккурат намедни из Парижа получен». И устроив дело таким чудесным образом, спешил дальше.

Без малого в неделю постановка была готова. По вечерам в доме бывали горячие обсуждения дневных находок и неудач. Председательствовал, конечно же, Шутовской. Впрочем, не председательствовал, а как бы задавал тон.

— Вот помню еще в старом театре, — начинал он обычно, — еще в деревянном...

Такая реплика служила лишь затравкой к разговору, и то, что происходило в старом деревянном театре, могло вовсе не всплыть или всплыть в совершенно ином месте и при других обстоятельствах. И тогда, словно колоду из рукава, вытаскивал он на свет всех своих любимчиков, учеников-актеров, всех этих Каратыгиных, Сосницких, Семёновых... Жарко горели свечи, потрескивали дрова в печи, и разговор принимал тот непринужденный характер, когда спешить совершенно некуда, но, наоборот, есть много чего вспомнить, и можно сидеть хоть до зари, а если уж и пойти спать, то лишь по сложившейся многолетней привычке, а вовсе не в силу необходимости. Все давно уже приготовились к встрече, только того и ждали — вот-вот! — отсчитывая последние дни. К концу репетиций и сумбурных бесед за полночь как ни в чем не бывало объявился Гайст и принес с собой запах меда, полыни и никому неведомых дремучих лесов.

Февраль одна тысяча восемьсот пятьдесят второго года таял, истекал последними днями, готовясь червлёным золотом отгиснуть в истории свое двадцать первое число. И хотя февраль был здесь по преимуществу таким же промозглым и тоскливым, как август или апрель, но что-то в природе улыбнулось — солнце ли блеснуло приветливей, выглянув на мгновение из-за туч, или ветерок, налетев с реки, растрепал волосы, но будто бы что-то вздохнуло с видимым облегчением: «Ты вернулся! Ты с нами!» И все закрутилось, как в дурацком детском спектакле-утреннике, устроенном взрослыми к очередному празднику, в котором почему-то непременно ему предназначалась главная роль. Его просто вытолкали на сцену, занавес отдернулся, и надо было уже что-то играть. Но вместо предполагаемого зала открылся низенький берег — шуршание реки в камышах, запах прели. И все это совершенно незнакомое и вместе с тем до мурашек родное, прятавшееся до поры в самых потаенных уголках памяти. Незнакомые хлопцы в бутафорских шароварах и с головами, выбритыми под оселедец, или попросту чуб, поднесли ему чарку горилки, приправленную добрым шматком сала. Поклонились низко, едва не до самой земли. Одарили караваем на рушнике. Тут же подхватили, понесли, и вот уже водрузили на высоченный воз, запряженный волами, а самый воз этот дернулся и пошел. И волы, понукаемые вожатым, покорно месили грязь дороги, словно нанятый глиномес, стараясь намять сырец для хозяина.

Без малого верста, и тут вдруг открылось шумное празднество: ярмарка, или даже карнавал, и это, конечно, радость, это здорово, но ведь надобно еще и понять наконец, а он-то кто? Он-то зачем здесь? Ведь он же совсем не тот, за кого его, видимо, принимают. А за кого принимают? Точно за ревизора какого. Надо будет тотчас же объясниться, не затягивать. Надо сказать им. Но кому — им? И что сказать? Что такое он может сказать, если и сам ничего про себя не понимает? Но должно же быть решение! На все бывает решение.

Волы уже заворачивали под арку, увитую гирляндами изумрудно-прозрачного

---

<sup>1</sup> *Чарльз Фредерик Уорт* (1825—1895), французский модельер английского происхождения, основатель дома моды House of Worth.

винограда, и виднелись тесные прилавки, ломящиеся товаром. Горы сочащихся потом дынь, полосатых кавунов с белым подбрюшьем, сложенные как попало. Рыба, сверкающая серебром, устало шевелящие клешнями раки. И повсюду музыка, песни, столпотворение, хохот и крики, крики...

И половины не успел оглядеть, а уж подскочили к телеге две вертлявые девицы в цветастых, высоко подоткнутых юбках, заголосили, подняв наполненные прозрачным вином бокалы: «Николя мы славим, Николя родного, свет еще не видел красавчика такого!»

Но это же не про меня! Или про меня? Нет, не может быть, чтобы про меня. Я их совершенно не знаю.

Они кривлялись, тянули к нему руки, приглашая сойти. А чернявый мужичок, взлохмаченно-кудрявый, как... как... — нет, прости, господи, нет, ну нельзя же таких совпадений! — подбежал вдруг нелепо, облобызал, торопливо зашептал в самое ухо: «Делай! так надо!» и чуть не силком потащил с козел.

Всё, как в фантазмагорическом сне, мелькало перед глазами, кружилось, вертелось, и он, словно эпопт в Элевсине, вынужден был подчиняться. После какими-то комнатами, залами, бесконечными переходами, скрипучими лесенками, будто в петербургском доходном доме, — на задний двор и, не останавливаясь, снова в круговорот толпы, балагана. Кто-то протягивал руки, цеплял за края одежды. Кто-то говорил, но слов он не разбирал, да и не было никакой возможности разобрать что-то в таком шуме, пока... Нет, не показалось. Это, впервые услышав, решил — показалось! Но после и второй раз, и третий. И тут уж точно не показалось! Тут уж специально стал вслушиваться. С разных сторон неслось — «красная свитка, красная свитка». А после еще и настойчивее, тревожней: «Кто тут не в красной свитке?!» Оглянулся вокруг, и точно — все вокруг в красных кафтанах! И лишь на нем одном непонятная, в серую полосу чесучовая хламида.

И тут же прежний мужичок кудрявый, который похож... — ну страшно сказать, господи, на кого он похож! — этот же мужичок, который никуда и не отходил, верно, опять потащил его в комнаты.

— Антоша! — крикнул натужно внутрь. — Нужен красный кафтан! Скорее! У нас, вроде, был где-то. В сундуках поискать надо!

И на пару с этим названным Антошей пошел настезь распахивать шкафы, выдвигать ящики, выбрасывая все содержимое наружу.

— Александр, вот, смотри! Нашлось! — отозвался через мгновение, радостно потрясая находкой.

И вдвоем они принялись переодевать его, торопясь, путаясь в застёжках, а из соседних комнат, из коридоров — все ближе нарастал гул, приближались шаги, голоса. Все страшнее звучало: «Эй! А ну-ка? Кто тут еще не в красной свитке?! Того сразу в котел!»

Наконец управились, кое-как запихнув обратно вещи, задвинув шкафы. Уселись за стол. Тот, который кудрявый, — Александр — достал колоду. Другой, который в очках, — Антоша — принялся сдавать. И в тот самый миг, как первые карты коснулись стола, в комнату вломились четверо. Самый грузный из них, на голову выше остальных, занял собой едва ли не половину пространства — наверное, ротмистр, почему-то решил он. Других почти не разглядел.

— Так... — промычал великан. — А здесь что у нас, господа?

— Да здесь все свои, ваше благородие. Не извольте беспокоиться! — залебезил, выскочив перед ним, другой, щупленький, с рябым лицом и бегающими глазками.

Но он-то! Он! Какой же он им свой?! Ведь они его даже не знают! Неприятная дрожь подступила к рукам, и холод, и комок в горле. Великан-ротмистр словно угадал его сомнения, уставился в упор, не мигая из-под тяжелых бровей, переспросил:

— Свои?! Надо бы поточнее!



А третий — из-за спины не разглядеть — мерзким скрипучим голосом произнес:  
— Может, кто-то надел чужое?

У него аж затряслось все внутри! Ходуном заходили руки, а ноги принялись выбивать дробь. Кто-то из двоих игроков больно наступил на них под столом, придавив к полу. Вслед за этими странными мрачными контролерами во главе с ротмистром затрещали двери и ставни под чьим-то страшным напором. Кто-то неведомый пытался пролезть в комнату.

Понимал, что выдает себя с головой, но никаких сил усидеть! Рванулся в отчаянии, выскочил из-за стола, метнулся к дверям, а следом из окон, из всех щелей неслось: «Держи его!» и отовсюду полезли черти, упыри, ведьмы, и не было им числа! Не было никакого спасения! Теми же проходами, коридорами, лесенками бежал не оглядываясь, не разбирая — лишь бы вырваться из кошмара! Где-то же был задний двор, но никак не найти! Господи! Нету сил. И снова лестницы, повороты, чуланы. А гул за спиною все нарастает, все ближе! Наконец чей-то спасительный крик рядом: «Сюда! Сюда!» За руку схватили: «В круг! Спасайся!» И мелом очерчено на грязном полу. Вступил. «Отдышаться! Господи! Верю в Христа осиянного!» — срываясь на шепот. Но кто-то мрачный в углу, бесформенный, будто слепленный из земли, из самой грязи: «Поднимите мне веки! — и ткнул пальцем: — Вот он!»

И тут налетели, догнали, набросились: держите его! хватайте!

Низкий потолок, некрашенный, в паутинах. Копоть в углу вековая — от самого царя Гороха не скоблена. Доски сучковатые, в трещинах — глазками смотрят. Тени ветвей гуляют по потолку. Вправо качнутся, влево. Непокойно на воле, значит. Слышать, как ветер в трубе завывает, а в печке дрова потрескивают. Разговор рядом. Кто-то рассказывает. Голос неспешный, вкрадчивый, с хрипотцой.

«В пятнадцатом году, что ли, было? Так помнится, зашел к нам в село старичок один — и напрямик к батюшке. Сказывается, так, мол, и так, вольноотпущенный, с отходных промыслов возвращается. Бумаги у него в порядке. И звать любопытно — Филон Меченов. Видать, какого-то предка его в старину сильно поместили. Вот пришел он до батюшки и говорит: "Иду, мол, издалека, чуть ли не с Ростовской губернии, а шагать еще и того далече — в Холмогоры. Да чую, что не дойду уже, ибо ослаб очень. Так не сделаете ли богоугодное дело? Похороните, мол, меня тут, а деньги за службу возьмите, сколько надо. Остальное пошлите с оказией на родину, супруге моей". Ну и надо сказать, недолго он зажился. Не в тот же ли день и помер? Я-то сам эту историю не застал, наш управляющий после уж отписывал. Так вот, похоронили этого старичка, а после, через год вроде, на епархиальном соборе выяснилось случайно: того же самого старичка в Вязьме хоронили, и еще в паре мест. И как такое могло приключиться, никто не ведает».

Голос затих, он обернулся невольно взглянуть на рассказчика. И тут же все вокруг пришло в движение: гомон, опрокинутые стулья, отовсюду кричали.

— Господи, он очнулся!

— Скорее! Дайте нашатыря!

— Это свинство, Александер, так довести человека!

В то же самое время две прежние девицы бросились поправлять подушки, сунули под нос нашатыря. Из-за их назойливого мельтешения нельзя было толком разглядеть остальных. Но давешнего великана-ротмистра он распознал сразу. Очевидно, он и был тем самым рассказчиком. Только выглядел теперь совершенно иначе — не грозно, а как-то по-домашнему уютно и миролюбиво.

— Да уж, друг мой, умеете заинтриговать человека! Недаром в вас тот француз стрелял, — печально усмехнулся другой, который отыскал ему прежде красную свитку.

— А вам-то почем знать, Антоша?

— Да уж наслышан, наслышан...

Тут только стал доходить страшный и окончательный смысл происшедшего. Он вдруг понял, что знает их всех, ну совершенно всех! И более того — всегда знал! Он привстал с подушек и обвел собравшихся печальным взглядом.

— Так это что же? Я умер? — произнес в тихой задумчивости.

— Ну, в каком-то смысле да, — философски и несколько вальяжно проговорил великан Сан Саныч.

— Друг мой! Вы просто вернулись, — вскочил в порыве чувств Александр, — и дайте ж наконец я вас облобызаю!

— Давайте-ка все за стол, господа! — воскликнул Мишенька, и щеки его налились пунцовым от такого юношеского порыва.

Что-то еще мешало, что-то еще оставалось недоговоренное. И Николая, неуверенно улыбнувшись, обернулся к Сан Санычу.

— Но все же как вы меня напугали! — укоризненно покачал он головой. — Я ведь вас натурально за ротмистра принял.

— Да и вы нас напугали немало своей натуральной игрой, — усмехнулся в ответ тот. — Уж думали было положить конец спектаклю.

— Позвольте, а как же Вий? — спохватился Николай. — Он тоже был настоящий?

Тут выступил из тени до того молчавший Гайст, и надо же, как он точно соответствовал образу!

— Разумеется, настоящий. Хотите, приведем? Впрочем, вы уже сегодня встречались, — хмыкнул он.

— Но как же это?.. — заторопился спросить Николая и вдруг умолк, неожиданно оборвал себя на полуслове.

— Вы хотите знать, как же это так получается, что придуманные вами герои живы? — переспросил Гайст и, дождавшись даже не кивка, а лишь едва уловимого наклона головы, ответил: — Вы точно уверены, друг мой, что именно вы их придумали?

— Но позвольте...

— И не способны ли допустить иное, — не дал перебить себя Гайст. — Что все они существовали еще до вас, как некие мислеобразы, а вы лишь вдохнули в них жизнь, дали имена?

— Но раз так, значит, они и не жили вовсе! — вмешался Мишенька.

— Смотря что понимать под жизнью! — расхохотался Гайст.

— Господа, господа! — перебил всех Александр. — Давайте оставим эти пустые нелепые споры! Не забывайте про наши традиции — у нас нынче гость. Гость! А мы даже не выпили первого гостя! Антоша! — обернулся он к другу. — Вы же у нас распорядитель. Командуйте!

В какие-нибудь минуты был собран чудесный стол, буквально ломящийся дивным изобилием давешней ярмарки. Чего здесь только не было! Ароматнейшие колбаски всех видов, от которых коты впали в неистовое состояние. Сало разнообразных способов копчения, холодец с тонким узором зелени и маленькими кристаллами чеснока, картофельные зразы со сметаной, вареники с самой непредсказуемой начинкой, крученики, полядвица, соленые баклажаны. Ну и, конечно, рыба — моченый в пиве судак, щука, фаршированная белыми грибами, копченый сом, истекающий жиром. А на десерт пляцки, кокурки, пампушки и всякого рода печенья, которым, кажется, и названий не придумано. Наконец хлопнули призывно бутылки, и вино аппетитно зашипело в бокалах. Барон как распорядитель вечера призвал виновника торжества к ответу:

— Николая, ваш тост! На правах гостя!

— Я в нерешительности, господа... — начал тот. — Я совершенно не привык к церемониям и прошу великодушно извинить эту слабость. Могу и хочу сказать лишь одно, что чрезвычайно рад всех вас видеть. Но особо я хочу вспомнить про один день.

Я тогда жил в Париже. Утром принесли из посольства записку о смерти друга, — он бросил короткий печальный взгляд на Александра. — Сказать, что я был потрясен — не сказать ничего. Я не знаю, с чем сравнить мое тогдашнее состояние. Был конец зимы. Слякоть. Я бесцельно брел по бульварам. Падал снег большими мокрыми хлопьями. Белый снег и черные тротуары. И никакого другого цвета. И почти никаких пешеходов. На углу старик-шарманщик с ученой обезьянкой прятались под зонтом. За один су обезьянка доставала из шляпной коробки бумажку с предсказанием. Кажется, до нас еще не дошла эта мода. Я расплатился и развернул доставшуюся мне бумажку. Красивым детским почерком — очевидно, писала его внучка — было выведено: «Смерти нет».

— Bravo! — воскликнул Александр. — *La mort n'existe pas!*<sup>1</sup>

— О, да вы прямо целый рассказ сочинили, — расплылся в улыбке Антоша. — Действительно, bravo! Смерти нет! Отличный тост!

В смущении Николя опустил на место. Тут же, словно бабочки, порхнули к нему Люси и Марго. «Ничего, — наперебой шептали они, пытаясь вызволить новичка из задумчивой меланхолии, — это скоро пройдет, пройдет».

Но печалился не только он. В разгар веселья барон тронул за плечо Александра.

— Хочу выкурить трубку, — произнес он нарочито негромко, так, чтоб не слышали остальные, — составь мне компанию.

Вдвоем они вышли на покосившееся крыльцо, с которого в ясную погоду открывался чудесный вид на заречные дали, на тревожный ельник, уводивший к незнаемой Смородине. Весь он казался тогда силуэтом, вырезанным из черной бумаги, этакой аппликацией в контражуре, как сказал бы художник. Но теперь свет был ушербный, рассеянный, и острые пики елей скрывали клочья тумана.

— Ты что-то хотел мне сказать? — с некоторой опаской проговорил Александр.

— Да, хотел. — Голос Антоши странно дрогнул, а сам он натужно закашлялся, словно поперхнулся табачным дымом. — Хотел сказать, что мой час пробил, мне пора. Пора уходить, — заглушил он кашлем предательскую дрожь в голосе.

— Как?! И ты?! — изумился Александр. В его интонации совершенно явственно слышалось «*Et tu, Brute?*<sup>2</sup>», да впрочем, он это нимало и не скрывал.

Барон виновато развел руками, но так как объяснение было явно недостаточным, продолжил:

— Понимаешь, это накатывает, как волна, и ты не в силах противиться. К тому же, мне здесь порядком надоело, — улыбнулся он. — Всё это сплошное фанфаронство, лицедейство, игра... Здесь душно и сыро, мой друг. Мне хочется света. Света!

— Ты зайдешь попрощаться со всеми? — проговорил Александр, потупив взор.

— Нет! Не хочу делать из этого трагедии.

Они еще постояли в нерешительности, не зная, что сказать друг другу. Наконец Александр не выдержал:

— Пойдем, я провожу тебя до камня. Не думал, что это случится так скоро, — вздохнул он.

— Я же сказал, — поторопился оправдаться Антоша, — это непредсказуемо. И никогда не знаешь наверняка. Есть у меня соображения на этот счет, верней, догадки. Точно-то ведь никто ничего не знает.

— Какие еще догадки? Выкладывай!

— Понимаешь, кто-то забывает нас там. Там, на земле, — махнул он неопределенно рукой. — Пока еще помнят, крепкая нить удерживает нас здесь,

<sup>1</sup> Смерти не существует! (*фр.*).

<sup>2</sup> И ты, Брут? (*лат.*).

не позволяет идти дальше. Но вот очередной ее волосок оборвался — и adieu. Впрочем, это так... домыслы.

Возле камня все было по-прежнему. Пусто. Неприютно. Пугающе. Антоша остановился и, обернувшись к другу, широко распахнул руки.

— Прощай, брат мой названный!

Александр, не скрывая слез, кинулся в его объятия. Минута — и все! Кончено! Барон зашагал прочь. Не оглядываясь. Навстречу новой судьбе.

Туман и чаша поглотили его, но некоторое время оттуда еще доносились слова, которые он произносил нараспев навряде баллады: «Он и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением».

К особенностям здешнего края следует непременно добавить и особый характер последнего рубежа. Смородина отличалась тем нравом, что впускала всех. Выпускала не каждого. Новый дух, попадающий в край, вообще не различал никакой преграды. Какой такой Калинов мост? Какой такой Змей? Так, обычная речка лесная, мостки, гуси-лебеди... И не замечал он останков многих героев на ее берегах, тех, кому не удалось вырваться к свету. Кто и рад бы, окончив скитания, вступить на небесную твердь, да душа прикипела к земному — не оторвать. Ничего этого он не видел и о сем не догадывался. Ибо духу входящему незачем знать всей тяжести будущих испытаний, нет потому и нужды смущать его ум всякими сказочками. А иначе возропшет прежде времени, усомнится. Пусть живет не таясь. Пусть вдыхает мир полной грудью! А там поглядим.

Хитрюга Гайст, конечно же, знал эту особенность, но делиться ни с кем не спешил. Что толку объяснять школяру устройство часов, коли о самом времени у того весьма смутные представления? По этой причине действия Гайста казались порой сумбурны обитателям дома, а то и вовсе непонятны. Взять, к примеру, историю с Головой.

После очередных учений с рекогносцировкой, когда уже и вечер давно состарился, и аппетит разыгрался не на шутку, вся компания по традиции собралась за столом. Разговор зашел о характере места. Стоит заметить, что с Антошей из дома окончательно ушло сибаритство. То есть случались, конечно, и карты, и вино, и цыгане захаживали, но редко. Сам характер бесед приобрел с той поры не то чтобы клерикальный, но до некоторой степени назидательный градус. Причем, непонятно, отчего это вдруг произошло. Как бы само собою случилось. Например, Николая мог спросить: «Не пойму, и куда ж Дантов ад подевался? Где его здесь искать?» На что Гайст — ассессор по демонологии, как за глаза величал его Александр, — отвечал обычно: «Так отменились». Вот и теперь тему разговора задал неожиданный вопрос Мишеньки:

— А скажите, друзья, вот Смородина и Почай, они как-то соединены меж собою? Не впадает ли одна в другую? — окинул он пытливым взором компанию.

— Нет, ну что вы, друг мой! Нет, конечно! — замахал руками Александр. — Меж ними нет ничего общего, хоть и недалеко протекают.

— Это как Дон и Волга, не до пятидесяти ли верст сближаются в самой своей ужине? Однако даже в разные моря впадают, — поделился Сан Саныч географическими познаниями. — И случались такие прожекты в истории, канал меж ними прорыть.

— Да вы, князь, не ударите в грязь лицом! Вполне могли бы извозчиком служить у Митрофанушки, — рассмеялся Александр. А Гайст, тот и вовсе ударился в мистику:

— Есть воды, которые не смешиваются, — сообщил он с мрачноватой ухмылкой.

— Я вот прежде думал, что здесь, — Мишенька неопределенно повел рукой, — человек получает самые широкие познания о мире. Все вопросы сами собой снимаются. Ан нет, не тут-то было. Оказалось, число загадок лишь возрастает, — удивился он.

— Любопытное бы зрелище было, если б здесь такой канал проложить, — продолжал размышлять о своем Сан Саныч.

— Эк вас на маниловщину сегодня потянуло, — снова подначил его Александр. И тут Гайст вдруг совершенно неожиданно треснул себя ладонью по лбу.

— Ба! И где это у нас Чичиков прохлаждается, интересно знать? А ну подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

Павел Иванович появился, как черт из табакерки, в считанные мгновения, будто стоял за дверьми. Друзья в недоумении переглянулись — к чему бы? Гайст даже глазом не моргнул, словно только того и ждал, словно давно имел некий план на сей счет разработанный, да только вот запамятовал за суматохой. Оборотившись к вошедшему, он спросил:

— Скажите, дружище, много ли у вас душ теперь числится? Ну, тех, что по ревизским сказкам прописаны.

— Мы, конечно, встречались, но, кажется, не представлены? — вздохнул Павел Иванович в том смысле, что нужно же придерживаться каких-то правил при разговоре. Подобная фамильярность допустима лишь между хорошими товарищами. Хотя познакомиться он совершенно не против. Такая вот сложная палитра чувств отобразилась в его вздохе и на лице.

— Бросьте, дружище! — осадил его Гайст. — Нынче не до формальностей. Время совершенно не терпит! Итак, сколько же мужичков наберется?

Как ни странно, но такой повелительный тон подействовал на Чичикова вполне отрезвляюще, и больше уж не делал попыток к знакомству.

— Аккурат с четыре сотни будет, — с нескрываемой гордостью произнес Павел Иванович.

— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнул Гайст. — Это вы замечательно вовремя сообразили! Как раз они нам все и понадобятся.

— И для какой же цели, позвольте спросить?

— Для самой святой, уверяю вас. Для защиты отечества.

— Да разве же на нас кто-то нападает?

— Как знать, как знать, — задумчиво проговорил Гайст. — Я встречал немало таких охотников. Но это еще так... пока лишь буревестники.

— Каковы могут быть предпочтения? — поинтересовался Павел Иванович. — Вы же на время лишаете меня, можно сказать, средств к существованию.

— Предпочтения? А предпочтения могут быть таковы, что враги рода человеческого не повесят вас на ближайшем столбе, как придут.

За все время их короткой, как дуэль, перепалки, друзья не проронили ни слова и лишь следили за репликами, как за мячом в *jeu de raquette*<sup>1</sup>.

— Насколько я понял, это пока еще весьма туманная перспектива?

— Как знать, как знать, — снова изрек свою философскую формулу Гайст.

— Однако же приходили французы, и ничего подобного не случилось, — вполне резонно усомнился Павел Иванович.

— Французы? Ишь куда хватили! — хлопнул себя по ляжке Гайст. — Это все же цивилизация. А нынешние придут вообще без роду без племени. Одно слово — варвары.

— Во всяком случае, хотелось бы каких-то гарантий. Позвольте хотя бы расписочку.

— Ну разумеется, разумеется! За этим дело не станет!

И Гайст тут же подмахнул бумагу со словами: «Предъявитель сего документа, Чичиков Павел Иванович, удостоверяется в том, что его крестьяне, в числе четырехсот душ, изъяты для исполнения нужд государства и будут возвращены в целости

<sup>1</sup> Игра ладонью (*фр.*) — старинная игра, аналог современного тенниса.

и сохранности, как только она нужна отпадет». И добавил еще что-то на словах, дружески приобняв за плечи:

— Насколько известно, Наполеон Бонапарт учредил у себя во Франции орден Почётного легиона. А буде создастся подобный ему орден и у нас, могу точно пообещать в нем особое место. Скажем, спаситель Отечества, очень вам подойдет!

Совершенно очарованный такой перспективой Павел Иванович пообмяк, не зная, что и сказать, и начал рисовать в голове отличительный знак будущего ордена — возможно, большую звезду с бриллиантами на красной атласной ленте через плечо. Но на этой приятной фантазии и был прерван все тем же бесцеремонным Гайстом.

— А теперь, милейший Павел Иванович, разрешите откланяться. Очень рад был бы продолжить беседы, но дела государственные требуют.

С этими словами, уцепив Чичикова под локоток, тихонечко подталкивал его к двери, а тот, в свою очередь, выходил, несколько пятясь, непрерывно отвешивая поклоны.

— Был очень рад! Очень был тронут!

Едва лишь за гостем захлопнулись двери, Николая зябко передернул плечами и тихо пробормотал:

— Не хотел бы я снова его видеть.

— Боюсь, что решать уже не вам, — несколько печально проговорил Гайст.

— Но позвольте, как же вы собираетесь использовать этих крестьян в ратном деле? — воскликнул Александр. — Помните, давненько вы что-то такое говорили нам про отягощение злом.

— Имейте терпение, господа! Скоро увидите все своими глазами!

Анналы истории хранят не только дела, но и сами слова, послужившие причиной событий. Это лишь меж людьми гуляет общеупотребимый оборот «слова эти канули в Лету». На деле же именно слова в первую голову и цепляет старуха история на свое удилище и откладывает их в самые глубокие тайники памяти, и сохраняет как величайшую драгоценность. Ибо еще в давней давности сказано: «В начале было Слово».

Спустя совсем недолгое время после приснопамятного разговора дом, как, впрочем, и обстановка вокруг него, стали потихоньку меняться. Сами изменения были, может, и не столь заметны, но совершенно неотвратимы. На заднем дворе за домом появился завод. Не завод, конечно, — заводик, и даже так себе: сараюшка с вечно дымящей трубой. И доносились оттуда порой какие-то совершенно противные звуки — будто удары железа и стоны, и визги пилы. Если бы кто зашел, то — ба! — увидел бы вполне знакомые лица: плотник Пробка Степан и Иван Колесо, и каретник Михеев, и Пётр Савельев Неуважай-Корыто, и кирпичник Милушкин, и Григорий Доезжай-не-Доедешь, и другие — все сплошь Мастера и работающие люди. Но наши друзья туда и вовсе не заглядывали. Лишь однажды Николая, все еще не оправившийся после встречи с Павлом Ивановичем, завернул посмотреть их работу. Но об увиденном говорить не стал, а впал в еще большую задумчивость и меланхолию. А еще немного спустя через поле от леса протянулась железная дорога. Бегал по ней почти игрушечный паровозик, пугая округу протяжным свистком из трубы. Александр, верный таланту, окрестил его не иначе как самовар на колесах, да и вообще, кто его только и как ни обозвал! Но тот исправно себе трудился, таскал из леса дрова, и не было ему дел до людских насмешек.

И вот однажды тудяга-паровоз привез из-за леса знаменитую голову витязя, а заняла она без малого целую платформу. Тут уж вышли, пожалуй, все обитатели поглазеть на чудо. Правда, близко подойти никто не решился, а Александр так и вовсе стеснялся взглянуть в глаза великану и подглядывал из-за спин. Весь остаток дня он провел совершенно не в духе, в поздних сумерках затеплил лучину и уселся за письмо.

«Свет мой, ангел, — писал он, — должно быть, только теперь я понял, насколько мы пленены своими героями. И так ли уж простительна наша небрежность, когда, оседлав Пегаса, скачем мы пером по бумаге, погоняя фантазию? И так ли уж безобиден наш путь, устланный костями невольных жертв нашей рифмы? Мы боги! Мы все можем! Скачем мы, нимало не заботясь о тех, кто подвернется под копыта коня. Лишь смутно мерцающий огонек впереди достоин нашего вниманья, лишь он один зовет нас. Но когда-то же остановимся. И они, хромые, убогие, обезглавленные явятся поглядеть на нас, своих творцов. Сумеет ли мы тогда заглянуть в глаза тех, кого обрели на страдания?»

Нынче Гайст наш с полей забвения привез голову великана. Видел бы ты, ангел мой, ее глаза! Печаль вселенной, бездна! Я не нашел в себе сил подойти. Будто что-то сковало меня по рукам и ногам. Я лишь однажды был свидетелем подобного взгляда — так Николая разглядывал своего Павла Ивановича. Сколько муки, сколько чувств было начертано тогда на его лице! И ежели про Чичикова уместно сказать, что это герой без души, то мою голову точно следует признать душой без героя.

Вообще-то, я опять весь в сомнениях, друг мой. Должен тебе сказать, что начинаю побаиваться Гайста. Тот ли он, за кого мы его теперь принимаем? Не правда ли, что герои существуют до нас, а мы всего лишь списываем их с натуры? Но тогда вопрос: подчинены ли они уже нравственному императиву? Или именно мы вкладываем в них свои моральные нормы? Опыт Гайста подсказывает мне, что первое вернее.

Вопросы, вопросы, вопросы... Ум ищет божества, а сердце не находит».

Как-то раз вечером Гайст вместе с Мастером сидели возле путей на низенькой дощатой платформе, мокрой после недавних дождей. Паровозик только что притащил из леса три-четыре вязанки дров, и работяги сгружали их возле заводской стены. Вечер остывал. Сосны процеживали напоздавший туман, а рельсы сверкали в лучах зари так, будто возили по ним не дрова, а солнечную руду. Гайст невольно прищурился на это сияние и заговорил:

— Скажи мне, Мастер Вил, игрой какого рода заботились валлийские купцы, лудильщики и рыбаки, и гончары Ламбета, а то так просто лондонская чернь?

Мастер невольно усмехнулся в ответ.

— Сдается мне, ты помнишь все места, где выступать случалось труппе нашей. А впрочем, ты джентльменов Стратфорда забыл.

— Да разве всех упомнишь?

— Ну что ж. Набор известный всем: любовь, измена, шашни короля или королевы-матери злодейство — из года в год репертуар один. Афиши не меняются веками.

Гайст тяжело и как-то печально вздохнул.

— Здесь ждет игра иная! Сюжет, конечно, важен, но главное не в нем, а что за ним.

— И в чем же здесь отличие таится?

— Костюм, в который государь рядится. Отличие в нем.

— Скажи точнее, я не понимаю, как может быть причиной костюм?

— Я образно сказал, но ты поймешь, конечно. Как можешь пьесу с середины понимать. Так вот, как раб завидует камзолу господина, но сам его не станет надевать, так и народ удавится скорее, ударится скорее в смуту он, чем влезет в чужеземные портки вслед за царем своим.

— Ты, вроде бы, про зависть говорил.

— Да, так и есть, но зависть не к костюму. Причина глубже, глубже, Мастер Вил! И объяснить ее, пожалуй, будет трудно. Однако ж слушай и мотай себе на ус. Сложилось уж давно так: народ и знать здесь говорят на разных языках. Не станем мы в истории копаться, откуда так пошло. Но вышло точно так. И кабы не писать теперь

на языке народа, то, верно, разошлись бы эти племена. Но разойдутся дальше — сам увидишь, когда застанешь эти времена.

Он надолго задумался, разглядывая дальний лес, почти задернутый плотным занавесом тумана.

— Представь, в твоём театре, Мастер, на место зрителей актеров посадить, а тех, других, поворотить на сцену. Что выйдет из затеи этой? — тут он таинственно подмигнул. — О зависти еще ты не забыл?

— Я думаю, смешаются все маски. Получится такой дивертисмент — не отличишь трагедию от сказки!

— Скорее, тут случится бенефис, — ухмыльнулся Гайст. — Но продолжаем! Зритель в зале тем и хорош, что каждый чувствует себя в заглавной роли: уж он-то бы сказал! Уж он-то бы ударил! Уж он бы в этой драме заставил плакать всех, пустил слезу рекой! Вот зависть где! Вот злость откуда! Подумаешь, актер! Ну, просто повезло под такой звездой родиться. Родись он под другой, пошел бы в пахари или лепил посуду, так чем гордиться тут?

— Но это нонсенс, хоть пример прекрасен!

— Пример с театром я тебе привел, чтоб показать, сколь несуразен замысел невежд — всех взять и поменять местами. На то есть божий промысел, едва ль ты не слышал о нем. Так вот, царю пеняет дерзостный народ, что позабыл обычаи родные, что оседлал страну, как жеребца, и тщится за европами угнаться. Пока что втихомолку, по углам, но скоро, может статься, на площадь выхлестнет.

— И что плохого в том? Ну, выйдет, покричит, а после разойдется по домам. Не вижу тут трагедии особой. Не так ли и повсюду было?

— Боюсь, здесь так не будет, как повсюду. Здесь все бурлит, как на вулкане дышит! Тут ревность с завистью под руку идут, страстей и чувств шипит клубок гремучий! И так сплетен давно! И царь-де, мол, не тот, кровей немецких, и глас народа вовсе он не слышит! Тут только спичку кинь — и полыхнет! Покатится пожар до океана, а то, гляди, и океан перехлестнет!

— Да, сцена мрачная, тут нечего добавить. Но коли будет все, как ты пророчишь, к чему потуги эти с Головой, с героями всех сказок прочих? Что за сражение могут выиграть они? И могут ли? Зачем лукавить?

Гайст вскочил в необычайно сильном возбуждении и принялся расхаживать по скрипучим доскам, мрачно уставившись себе под ноги.

— Как не поймешь ты истины одной? В героях сих живет душа народа! И до тех пор, пока она жива, он не погибнет, пережив невзгоды, — проговорил он, чеканя каждое слово, точно золотой червонец. Наконец остановился и подмигнул, дружески хлопнув Мастера по плечу. — И есть еще тут истина одна — неистребимо зло, и зла ледник веки до основы не растает. Как прежде я тебя учил? Зло — это лишь соотношение сил. Зла без добра на свете не бывает. Но чем сильнее противоление злу, тем оно дольше в нетях пребывает. Пускай слаба еще народная душа и долго ждать, покуда силы наберется, но в нас надежда Дантова жива — пока хоть листик той надежды бьется...

Междуречье Смородины и Почая имело не только географическую ширину и разнообразие, но и глубину со своим, пожалуй, еще большим разнообразием, о чем мало какой обитатель догадывался. Очень сильно обманулся бы новопреставленный, полагая, что существует лишь то, что зримо. Словно наваждение, фата-моргана, возникал вдруг пред путником образ *Νέστορ*<sup>1</sup>, и он, выбитый из колеи обычной житейской рассудочностью, вдруг прозревал — да, это именно он, тот самый легендарный летописец! И так же продолжает свой труд. В ответ просветленный

<sup>1</sup> Нестор — «странник» (лат.).



рассудок подхватывал эту мысль и соглашался с ней совершенно — ну да, разумеется, а кто же еще? Присмотревшись внимательнее, изумился бы он и более, ибо заметил бы еще и другое — старцу нет нужды пользоваться привычным пером и пергаментом, а то, что он пишет, оттискивается словно бы прямо на небесах, и ниспадает на землю листами известной с незапамятных лет Голубиной книги.

Писалась эта книга во все времена: и при великом Петре, и при Грозном царе, и при прадеде его в тринадцатом колене Владимире Мономахе. Но всегда ли слово книжное носило лишь назидательный характер? Всегда ли было вроде докучливого материнского поучения «не водись с плохими людьми», а потому и не вполне обязательно?

Задумавшийся над этим адепт рано или поздно приходил к совершенно ясному ответу — нет, не всегда! Бывали времена, когда слово еще билось, еще трепетало живым сияньем на небе, подобно звездам, и лишь после погасло, застыло свинцовыми рунами на бумаге.

Как-то раз ночной разъезд пробирался вдоль болотистой низины, окаймлявшей предлесье. В неверном свете луны едва угадывался след копыт. О том, чтобы различить какие-то иные следы, не было и речи. Меж тем, наметанный глаз охотника разглядел в мокрой траве не то улиток, не то червей, размером едва ли больше лисицы.

— Алёша, глянь-ка, что за слизняки? — спросил Добрыня, слезая с коня.

— Так, верно, то и есть, что старшина нам сказывал намедни! — живо откликнулся Алёша, понукая своего коня пританцовывать на месте. — Коли их, режь!

— И вправду мерзость! — хмыкнул подъехавший Илья.

Втроем они разбрелись вдоль болотины, орудуя копьями наподобие мальчишек, лучащих осенью рыбу на мелководье.

— Ну, прямо ратная забава! — горько усмехнулся Илья, мокрый и перепачканный с ног до головы тиной и слизью. — Как я домой вернусь?

Алёша расхохотался так, что в ближайшей рощице сорвало птицу, и она метнулась, хлопая в испуге крыльями.

— Скажи, что заревых червей копали. Чтоб после перемёты ставить... на стерлядь.

— Тебе бы зубоскалить все! А много ль сам прибил-то?

— Десятка два.

— Вот то-то и оно, что два. Эх, сейчас бы половецких ханов встретить, — сладко потянулся он, хрустнув косточками, — да по степи погнать! Да потоптать! Да булавою шлемы посшибать с башками вместе! Чем этих червяков колоть болотных.

— Эх, да, — вздохнул Добрыня, — прежде вольно было. Теперича не так! Иначе стало нынче. Все норовят пробраться изнутри, исподтишка ударить под кольчугу.

— Враг измельчал, да нам какое дело? Не в чехарду же с ними нам играть? — возразил Алёша. Он вдруг опешил, разглядев что-то позади, за спинами товарищей. — А оглянитесь-ка, друзья, на поле! Что там за холм с наверхием стоит?

Там, где поле вздыбливалось, забирало к небу, и мелкие колючие звезды, казалось, вот-вот зацепятся за траву, стояло что-то уродливо огромное, похожее на гору. Но откуда тут взяться горе? В набежавшей из туч луне сверкнул шишак на вершине. Друзья ахнули, переглянулись и подъехали молча, с опаской разглядывая спящую голову. Кони под всадниками настороженно фыркали, держась на почтительном расстоянии. Алёша тихонько ткнул в бок Илью.

— Ты, кажется, искал противника покрепче?

— Искать-то я искал, вот только не приучен с головами драться, — буркнул тот.

— И то сказать! Слизнет тебя, как муху, и выплюнет к болотным червякам.

Добрыня, тот даже привстал в стремени, чтобы оценить размеры, но едва сравнялся с бровями витязя.

— Не Святогор ли это? — спросил он. — Я, сколько ни служу, а первый раз наехал на этакое чудо.

— Нет, Святогора знаю я, не он, — покачал головой Илья. — В кости тот тоньше будет. Про этого я слышал только, но прежде видеться и мне не довелось.

— Эх, сколько ж мощи в нем было ране, когда ходил, как мы! — с восхищением проговорил Добрыня, не в силах оторвать взгляд от великана. — Он мог бы запросто поднять нас всех троих с конями вместе, поставив на ладонь.

— Ага! Потоме еще другой прихлопнуть, — не удержался Алёша. Илья вздохнул:

— Тебе бы все смеяться.

— А что еще нам делать? Мы так и будем тут всю ночь кружить? Как будто бы другого дела нету?

— Что ж, будь по-твоему, — решил Илья. — Я, как смогу, подъеду ближе, а вы держитесь-ка подальше от меня — не ровен час...

Он приблизился к Голове на длину копья и, дотянувшись, пощекотал древком ноздрю великана...

Луна уже закатилась за лес, звезды потускнели и погасли перед лицом зари, когда им удалось снова собраться вместе. Последним подъехал Илья, конь его заметно прихрамывал.

— Ты, верно, с самого Почая возвращался? — встретил его появление Алёша.

— В другой раз, умник, станешь сам будить, — огрызнулся тот. Он спешился, кинул Алёше поводья и, подойдя к Голове, поклонился. — Прости нас, брат, что потревожили твой сон напрасно.

— Так что, нужда какая заставила вас рыскать по полям? Или обыденкой вы мимо проезжали? — откликнулась Голова.

— Нужда такая, брат, что охранять от нечисти должны родные земли.

— Благое дело!

— Только вот беда, не сразу ее отыщешь — прятаться горазда. Уж ты подуй нам, братец! Пособи! Лежалую траву приподними! Чтоб духи, отягченные переживаньем мрака, запутались, завязли, будто в паутине, в ней. А там уж мы подскочим!

— На том и порешим! Свистеть я буду. Услышишь свист мой хоть из-под земли.

После возвращения Николя редко проводил время с друзьями. Его можно было повстречать где угодно. Точно какой-то неугомонный дух преследовал его, гнал с места на место. Обычно он пропадал где-то в дальних комнатах дома и на дворе, у конюшни или сараев. Раз как-то Александр вышел подышать на волю и застал его возле железнодорожных путей рядом со станцией. День выдался сухой, но ветренный, и низкое вялое солнце пробивалось сквозь рваные клочковатые облака.

— Скажи, друг мой, куда ведет эта дорога? Ты знаешь? — спросил Николя, поеживаясь от колючего ветра.

— Должно быть, Гайст знает, — пожал плечами Александр. — А впрочем, какая разница — куда? — небрежно отмахнулся он. — Мы же все равно никуда не едем.

— Это-то и странно, — пробубнил Николя. — Почему все время сидим на месте?

— Если тут и есть что странное, так это вопросы, которые ты задаешь. Почему тебя это волнует?

— Помилуй, я уже давным-давно здесь, целую вечность. Даже не помню сколько. Я потерял счет времени! И... и ничего не происходит. Ни-че-го! — проговорил он в раздражении по слогам. — Я бы поехал, но, боюсь, там будет еще хуже. Боюсь, что где-то там — ад, — шепнул он, опасливо указывая пальцем в сторону леса.

— Ад?! — переспросил Александр и невольно хмыкнул. — Ад, друг мой, это влюбиться в графиню, нисколько не рассчитывая на взаимность. Ад — это сходить

с ума от одной лишь близости духовной, не имея никаких оснований ни для чего иного. Вот это сущий ад!

— Ты прав, прав! Тысячу раз прав! И почему тебя не было тогда со мной? — тяжело вздохнул Николая и схватил за руку Александра.

— А и был бы? То что изменилось бы?

— Хотя бы уберег меня от этих пустых растрат сил и времени.

Александр вздохнул, прищурился на низкое солнце и задумчиво произнес, старательно глядя куда-то в сторону:

— Тебе следовало выбрать иной объект любви.

— Вот как? И ты знаешь верный способ?

— Нет, способ мне неизвестен, но я знаю это наверняка.

Николай смутился, опустил голову и принялся усердно ковырять носком мелкие камушки под ногами.

— Я не искал лавров дона Жуана, — едва слышно проговорил он, заливаясь краской. — Непостоянство, ветреность, вероломство — не про меня. Верность — вот то единственное, что должно украшать человека.

— Верность? А что это такое? Верность кому или чему, позволю спросить.

— Ну... родство по духу — как родство по крови, тут не ждешь предательства.

Через некоторое время оба вдруг спохватились, что идут вдоль путей от дома и уже довольно прилично ушли, и, заметив это, повернули обратно.

— Пожалуй, ты прав. Это действительно верность, — согласился Александр.

«Свет мой, ангел, — писал Александр тем же вечером, — нынче редкий случай — долго беседовали с Николаем. Только теперь мне открылось, как глубоко несчастен этот человек! Сколько обид натерпелся! И самая глубокая из ран — отношения с графиней. Ты же помнишь Анну? Ей, конечно, льстило, что величайший литератор России запросто общается с ней. Но каково было ему? Он и теперь подавлен, не может примириться с прошлыми обстоятельствами. В любой неправильности отношений виноваты прежде всего мы сами. Я лишь хотел поведать ему об этом. Но не умел сказать. Не решился. Мы наделяем нашу любовь тем, чем она ни для кого другого не является. Мы приписываем ей такие свойства, каковыми она не обладает. Для примера представь, мой друг, какого-нибудь почтенного отца семейства в летах, сохранившего нежные чувства к своей супруге. "Моя ласточка" или "мой котик" — зовет он ее ласково, как встарь. А в этом "котике" давно уже пудов пять-шесть. Каково? Но в том-то и состоит любовь — это то, что поднимается в нас изнутри, а не то, что приходит снаружи. Это, прежде всего, наша способность любить. В ней скорей отражаемся мы сами, чем наш избранник. И потому тяжело было Николаю самому дать верную оценку графине. Как говаривал Цицерон: "Надо судить человека прежде, чем полюбил его, ибо, полюбив, уже не судят".

Каков же выход? Я не знаю. Другое дело, если бы Анна дала ему отказ. Но, насколько мне известно, отказа не было. Хотя, впрочем, не было и самого предложения. Все на полутонах, полусмыслах.

В сущности, мой друг, в этом мире мы все глубоко одиноки, отчаянно одиноки. Порой нам в отшельничестве улыбнется любовь, но это случается так редко и так недолго длится, что даже и говорить не стоит.

Эх, что-то я разболтался сегодня, должно быть, опять к непогоде...»

Тем же вечером Мастер, который стал невольным или, вернее сказать, незримым свидетелем той беседы, пересказывал Гайсту печальное содержание разговора.

— Скажи, кто прав и есть ли правый в этом деле?

— Вопрос не так уж прост, и правых нет, — поморщился Гайст прежде, чем дать ответ. — Что до меня, я выбрал бы свободу, без сомненья. Познанию противно постоянство! Я утверждаю, постоянство — это смерть! Конец развития, предел земных

страданий. Все постоянство — это труп могильный. Вот он уж, право слово, постоянный — как положили черепом к востоку, так и лежит, бедняга, с этих пор, не повернется ни на йоту вспять.

— Но что же нам толкуют об изменах, о пошлости и похоти людской? Что постоянство лишь одно залог успеха, — упрямылся Мастер.

— Ну, кто же лицемерию поверит, друг мой? Твой рассказ другим задел меня. И добродетель здесь не цель — скорей, помеха. Она, как искус, как преграда, как прореха души, в которую стекает яд сомнений, страхов и застит свет, и нет в душе огня, а есть лишь скорбь...

— Так в чем утеха?

— Ее тут не ищи, сказал же я: нет верного ответа! Все дело в том, что, не познав друг друга, мы остаемся только образом, словами, закрученными туго в нити фраз, сплетенными в романы и поэмы. Мы друг для друга призраки всего лишь, не более, чем летней ночи сон.

В доме было полно всякой всячины. Шкапы, в изобилии набитые разной рухлядью, столы, скамейки, диваны, резные стулья, кресла венские, кухонная утварь, посуда — от тончайшего аглицкого фарфора до простой деревенской керамики, свечи, подсвечники, канделябры, арфы, рояли, клавесины, скрипки, гитары. Ковры турецкие, персидские, туркестанские, домотканые, гобелены, статуэтки, картины в рамах и без оных на самые разнообразные сюжеты, гравюры, рисунки, эстампы, атласы, открытки, календари, книги — целые библиотеки книг! На любой вкус — прялки, вальки, скалки, коромысла, сёдла, хомуты, попоны, подковы... Казалось, целыми днями, целыми месяцами ходи, а всего не пересмотришь — то одно откроется, то другое. Но вот чего тут вовек не найти, так это зеркал! Если кто-то еще держал в голове такое воспоминание — взглянуть на себя со стороны — здесь оно напрочь стиралось. Здесь каждый мог лицезреть себя и снаружи, и изнутри, была бы охота. Но как такое возможно? Черт его знает!

Как-то в один из промозглых дней, когда из дома лучше не выходи, а лишь полеживай на печи да грейся, Гайст вместе с Мастером сидели в заведении у знакомого немца — в том самом, с известной картиной про Чудо Георгия. Час был неурочный, но ввиду непогоды большинство мест было занято, и проворный хозяин едва поспевал обслужить гостей, ловко снуг между столиками. «Что есть за ненормальная погода, господа? — ворчал он, тяжело отдуваясь и специально коверкая язык, очевидно, в угоду посетителям. — Что за напасть на нас такая?» Господа же по большей части молчали, потягивая кто квас, кто чай с лимоном, а кто так и просто водочку. И лишь за одним столом ничего не пили — в самом дальнем и темном углу. А восседала там мрачная компания из трех человек. Гайст специально ткнул Мастера под руку, кивнув в их сторону — взгляни, мол, какие птицы! Троица казалась совершенно застывшей и как бы не от мира сего, словно с иконы Андрея Рублёва. Только одежды их были темно-серые, а не небесно-голубые, как на оригинале, и вместо чаши посреди стола помещалась лубочная картинка с императором, вроде тех, что продают в Страстную неделю на развалах возле монастырей. Перед портретом теплилась свечка, а все трое держали друг друга за вытянутые над столом руки, как бы образуя половинку звезды Давида. Время от времени можно было расслышать и отдельные слова молитвы, которую они шептали, усердно шевеля губами: «Спаси, Господи, и помилуй благоверного государя нашего Александра Николаевича и покори под нозе его всякаго врага и супостата, и глаголи мирная и благая в сердце его о церкви Твоей святей и о всех людех Твоих... тихое и безмолвное житие... в правоверии, и во всяком благочестии и чистоте... мерзкое и богохульное жидовское иго и агарянское царство вскоре испровержи и правоверному царю предаждь... правоверие же утверди и воздвигни... христианский и низпосли на нас милости Твоя богатая...»

— Кто это? Что за люди? — опешил Мастер.

— О, это давняя история, — ухмыльнулся Гайст. — Когда-то они величали себя любомудрами, завели кружок, изучали немецкую философию, увлекались Шеллингом, Кантом... Да вот незадача — сами же и перепугались своих дерзостных мечтаний о национальном самоопределении и о строительстве самостоятельной русской философии. И потому поспешили скорее загладить вину. Кружок распустили, устав сожгли, а для себя нашли прибежище в служении Богу, Царю и Отечеству. Такой вот конфуз случился на почве любви к родным пенатам.

— А прежде ты, кажется, руганью ругал революционеров? — лукаво улыбнулся Мастер.

— Я?! Ругал? — переспросил насмешливо Гайст. — Ругал — это еще мягко сказано! Ругал, потому как любое правильное развитие — это эволюция, а вовсе не ломка старого и уж тем паче не выписывание охранных грамот умирающей династии. И наш случай особенный, уж больно на верноподданнейшее шутовство смахивает — «Скорей бы ты помер, ваше величество, я тогда всем рассказывать стану, как сильно любил тебя, а то сейчас стесняюсь».

Никто из посетителей не обращал на странную троицу ни малейшего внимания, как, впрочем, и на самого Гайста. По простой причине: не было в этом пестром собрании ни единой души, что так страстно радела бы об отечестве, как эти трое. Слава богу, не перевелись еще в наших краях ни иные цели, ни иные служения.

— И вот ведь незадача, — продолжал Гайст, — тот вон красавчик, что у них в середине вместо Бога-Отца восседает, поначалу был совсем неплохим поэтом, что-то такое возвышенное писал: «Так ты, поэт, в годину страха и колебания земли, носись душой превыше праха и ликам ангельским внемли...» Но под конец скис и даже удостоился от критиков прозвища реакционер. Это ведь не самая правильная характеристика для поэта, как думаешь?

— А с Александром он, случаем, не знаком? Или, может, с Николаем, еще с кем-то? С кем-то из тех, у кого ты обычно бываешь.

— Ну, как же, как же?! Разумеется, знаком! Только что с того? Тут ведь печаль какая — только заведешь друзей-литераторов, так и начнешь себя невольно с другими сравнивать, и не дай тебе бог оказаться слабее! Если поймешь, что невысоко летаешь, — пиши пропало! Ухватишься за любую соломинку, лишь бы устоять. Кто в женщинах, кто в вине, а кто в Боге опору находит. Эти, как видишь, в патриотизме ее отыскали. Ну, не самая далекая глушь — не какой-нибудь там Саратов.

— Посредственность в родной земле опору ищет, — задумчиво проговорил Мастер. — А гений, он всегда — космополит!

Происходившее в крае всегда имело непосредственное продолжение на земле, и по нему, как по барометру, можно было с уверенностью предсказать наступление тех или иных событий. Знать бы правила. И наоборот, отголоски дел земных прокатывались здесь с некоторым запозданием, как эхо, оставляя по себе тонкую печаль угасающего вечера. С некоторых пор обитатели дома стали замечать странную кровавую ржавчину закатов. Она появлялась незадолго до захода светила и держалась некоторое время после, окрашивая тревогой притихший ельник.

— Интересно, что бы означал такой мрачный оттенок? — задумчиво проговорил Александр, всматриваясь в пылающие облака. — Вспоминается, прежде старики рассказывали о чем-то этаким накануне войны двенадцатого года.

Друзья как раз устроили чаепитие на воздухе по случаю теплых сумерек. Экономка уже дважды раздувала большой самовар, но жажда все никак не унималась. Туман еще не пал, пахло свежескошенным сеном и чубушником, а чопорные стрижи замысловатыми пируэтами вырезывали непонятную азбуку в небесах. Им одним, казалось, не было никакого дела до цвета облаков.

— Нет, это не к войне, — покачал головой Гайст. — Это именно то, о чем нас предупреждал Мишенька, — декорации к убийству императора.

— Вы разве помните? — удивился Александр. — Я так уж и забыл, признаться.

— А между тем пророчества пишутся на небесах. Буквально! — откликнулся Никола. — Их можно не понимать, но не замечать невозможно. Иногда мы и сами себе пророчествуем. Но почему-то себе доверяем меньше. А напрасно. Мы же сотканы из того самого материала, что и облака.

Он вроде как спорил с самим собой, но спорил вслух, вынуждая остальных вслушиваться.

— А что? Легко представить, как я буду парить облачком или тучкой, — пожалуй, впервые за весь вечер улыбнулся Мишенька. — Это такая высокая поэзия! — закатил он глаза и, перехватив взгляд Никола, хмыкнул: — Буквально!

— Утес тоже придется представить, — улыбнулся в ответ Никола. — Утесов тут не поставили.

— Ваша милая пикировка не вполне приличествует случаю, господа, — нахмурился Гайст, подливая себе в очередной раз чаю.

Друзья переглянулись. Уже не впервые Гайст демонстрировал странную озабоченность событиями, которые так печально от них далеки.

— Пророчество — еще не свершившийся факт, — примирительно и как бы за всех проговорил Александр. — Стоит ли заранее оплакивать государя? Устраивать тризну? Да и так ли уж верны пророки?

— Оплакивать живых, конечно, не стоит, но и пировать во время чумы не резон. Вас ли, мой друг, укорять в этом? А пророчество верно, не извольте сомневаться. Пророчества не могут быть неверными, они бывают лишь неправильно истолкованными.

— Ваши слова справедливы лишь для царей?

— Отчего же? Для каждого. Но капризная дама история помнит лишь государей.

— И каких же пророчеств следует более всего опасаться?

— Повторюсь, — опасаться надо неверного толкования. А пророчества... Чего же их опасаться? — усмехнулся Гайст. — Они как указатели на дороге. Вы же не боитесь указателей?

Поздним вечером после чая, никому не сказавшись, Гайст отправился на прогулку, прихватив с собой длинный кожаный плащ и шпагу. Впрочем, все достаточно привыкли к его странным выходкам, чтобы обращать на них внимание.

— Нет, их уже не раскатать, пустое! — вздохнул он и махнул в досаде рукой, сходя с крыльца. Со стороны могло показаться, будто он бормочет с самим собой, но на самом деле он обращался к Мастеру. — Ты же видел, мой друг, — говорил он, — их уже ничто не тревожит. Они прожили славную жизнь, и теперь их волнует лишь одно — последний рубеж, Смородина.

— Я бы не сказал, чтоб они туда слишком рвались, — хмыкнул Мастер.

— Ха! В чем и дело! Заметил ты особенность одну? Сюда привозят, а туда уходят, — ткнул он пальцем куда-то в сторону ельника и печально вздохнул. — Так нелегко сказать последнее прости и отпустить бывшее, словно птицу. Свои привычки, радости, друзей — вот это все, что родиной зовется. Что замирало сладостно в груди от крика петуха, мычания коровы, от звуков, которые мы с колыбели помним: едва проснешься — уже заполнен мир каким-то чудным смыслом. Хруст яблок на зубах и скрип телеги, и прелый запах осени в саду, когда она под пуховик зимы ложится.

— Но всё ж они уходят. И значит, смиряются с потерей своей? Финал сей пьесы близок, позабыты роли...

— И да, и нет! В том нет особой воли. Как лепестки срываются с цветка затем,

что отсыхают, так и души покров помалу убывает, покуда дух не обнажится. Тогда уходят. Тогда уже ничто не держит здесь.

— Я облакаюсь в душу, а они снимают?

— Вот именно, друг мой! Всё так и есть! Насколько жаден к жизни ты, настолько же они остыли! Ты облакаешься сегодня в душу, а завтра будешь в тело облачен, как гусеница в кокон. Тебе всё любопытно нынче в мире, в стране, что родиною стать должна. Тебе в ней всё не терпится узнать. Её язык, обычаи и нравы, пословицы, приметы, имена ее героев, поверья, песни, смех, веселье, забавы юношей, лукавство юных дев. Её художников сюжеты, книги мудрецов иль шутки черни, когда, уставши от дневных трудов, она своих господ всю поносит, хвастовство отцов перед наивной глупостью детей иль страхи матерей за будущее, что грядет неумолимо в проклятый век машин, и вот уж близко сроки... — вот это всё, что, языком поэтов говоря, мы называем «аромат эпохи».

— Поистине чудесный аромат! Здесь всё смешалось, как в колониальной лавке. Я даже в Стратфорде такого не встречал. Хотя, что в Стратфорде? И в Лондоне едва ли...

— Да, здесь смешались многие наречья, как будто отворился Вавилон, оценишь его варварства увечье, когда перед тобой предстанет он. Тогда забудешь старого спирита, среди людей моя бессильна власть, но отблески иного света ты будешь еще долго вспоминать. В промозглый день у жаркого камина, за дружеской беседой в час ночной или под утро после нежной встречи я потревожу твой земной покой. Хотя покой тебе прописан вряд ли, то будут грозные времена. Но, чур! Дальнейшее — молчанье, — приложил он палец к губам. — Об этом говорить не должен я.

За разговорами они незаметно дошли до леса, до памятного места возле камня, где когда-то Александр прощался с бароном, а до того — с Гаврилой Романовичем.

— Мы куда-то идем? — насторожился Мастер.

Вечер, еще минуту назад казавшийся теплым, вдруг пахнул сыростью, налетел тревожный ветерок со Смородины, зашуршал листвою.

— Да так... прогуляемся немного по тропе самоубийц, — хмыкнул Гайст. Но его небрежный тон произвел обратный и самый удручающий эффект. От неожиданности Мастер остановился, как вкопанный, на мгновение даже потерял дар речи.

— Са-мо-у-бийц? — наконец выдал он по слогам. — Отчего вдруг такое страшное название?

— Не обращай внимания, — отмахнулся Гайст. — Идем! Я просто неудачно пошутил. Никто ее, разумеется, так не называет. — И, промычав себе под нос какой-то невразумительный мотивчик, пояснил: — Видишь ли, мой друг, сюда приходят те, кто окончательно скинул с себя земные одежды. Кто уже никогда более не вспомнит о своем земном существовании, и вовсе не потому, что не может вспомнить, а потому, что нет нужды вспоминать. Это как перечитывать старую книгу — пускай сюжет завораживает, но ничего нового в ней уже не сыщешь.

Тропа, ведущая старым ельником, изборождена узловатыми морщинами корней, вытоптана, словно в парке, и так широка, что при желании хоть на телеге поезжай! Однако же на телеге тут никто не ездил. Могучие стволы в смоляных потёках плотной стеной совершенно закрывали перспективу, невозможно было разглядеть, что там, за очередным поворотом. Птицы здесь не пели, зверья не водилось, и ни одна душа в мире не могла бы вынести этого удручающего места. Оттого-то души тут и не хаживали.

— Вряд ли ты запомнил, — вымученно улыбнулся Гайст, — но явился ты сюда именно по этой дорожке.

— Может статься и так, мне было не до того, чтоб разглядывать, — пожал плечами Мастер и спросил: — И куда мы теперь идем? На Смородину?

— Нет, не туда. Там нас сейчас не ждут никакие открытия.

— Значит, просто гуляем?

— Не совсем. Нам предстоит одна важная встреча. Необычная встреча, — с особым ударением и манерной загадочностью подчеркнул Гайст.

— И ты, конечно же, не расскажешь мне, с кем?

— Отчего же? Расскажу, — опять ухмыльнулся, растянув улыбку, и добавил: — Потом, после...

Они довольно изрядно прошли по тропе, сумерки, и без того поздние, совершенно ступились, когда мерное, далекое содрогание насторожило слух. Как будто где-то в дремучей лесной чаще забивали сваю. И звук этот нарастал, приближался, становился явственнее. Мастеру показалось, даже сам воздух дернулся и пришел в движение. Стало не по себе, нестерпимо не по себе. Он нерешительно оглянулся на своего спутника.

— Это он! — шепнул Гайст в самое ухо. — Скорее! Освободим дорогу! — И, схватив Мастера за руку, торопливо потянул в сторону, под тяжелые еловые лапы.

Минуту спустя мимо них грузно прошагал кто-то темный, совершенно неразличимый в сумерках, и Мастер невольно поразился его размерам. Проходя рядом, великан на мгновение замер, обернув голову, но было неясно, увидел он их или нет? Станный ужас сковал Мастера. Какое-то время он совершенно не мог сдвинуться с места, прилипнув к смолистому дереву.

— А ты заинтересовал его, — усмехнулся Гайст.

— Я? Почему именно я? Не ты?

— Помилуй, мой друг! Ну что же во мне может быть интересного? Я так и останусь тут, в этих краях, а вот с тобой его пути еще пересекутся.

— Так кто же он?

— Он тот, кто, словно муху в паутине, тебя подвесит. Тогда его узнаешь, не теперь — теперь не время.

Мастер недовольно проворчал:

— И нет бы сразу предупредить. Я б разглядел получше, а то всё — после, после...

— Достаточно, что он тебя увидел. Теперь уж не забудет, верно.

— Постой! Дай угадаю, это Ричард Третий?

Гайст нахмурился.

— Нет, но того же плана господин. О большем не скажу, сам все увидишь.

Назад в дом спутники возвращались уже под звездами. Густой туман поглотил их, едва лишь они вышли из леса, — как потный ноздреватый сыр на бутерброде, лежал он на всей округе.

Всякого, кто путешествовал междуречьем Смородины и Почая, хотя бы раз да посещало сомнение, а насколько всё зримое им соотносится с истиной? Например, правда ли, что вот эта журчащая ручейком вода, которая после дождей становится мутной, есть на самом деле вода, а не что-то иное? Или тот дальний лес, в котором созревает такая дивно сладкая малина, действительно лес? И что самый дом этот, старый, громоздкий, покосившийся, кто-то когда-то построил? Насколько, например, малина есть малина сама по себе, а не просто наша память о сладости? Или, скажем, дом есть лишь сам дом, а не мечта об уюте? А что если никакого пространства нет и в помине? Ни самого пространства, ни каких-либо объектов, расставленных в нем тут и там, — ни ручейка, ни леса, ни дома? Что если существует одно лишь время, которое в своих бесчисленных метаморфозах принимает тот или иной знакомый образ? Не есть ли все сущее здесь просто красивый рисунок, этакое наваждение, хитрый обман зрения и ума? Будто могущественный, неведомый художник заставляет нас вновь и вновь переживать одно и то же?

«Мой милый друг, — писал Александер, — нынче я совершенно погряз в философии. И ладно бы только в ней! Но вот беда, стоит лишь на минутку задуматься



о сущности вещей, как тут же я начинаю ковырять ногтем поверхность стола — то ли пытаюсь убедить себя, что стол реален, то ли, наоборот, ищу подвоха. Я даже не знаю в точности, что бы меня больше устроило, реальность его или мнимость. (Вот уж не ожидал от себя, что стану мыслить когда-нибудь на немецкий лад.) Или резко оглядываюсь в надежде застать момент, когда вдруг всё за спиной исчезает, чтобы убедиться в придуманности этого мира. (Отечество нам царское светло... ха-ха!) Впрочем, всякий раз не застаю. Боюсь, не станется ли со мной *dementia graecox*<sup>1</sup>? Я даже и прозвище себе уже выдумал на сей счет — сумасшедший философ. Каково?!

Не могу вообразить свое путешествие на Смородину. Диви бы еще Змей, мостки, но что же дальше, на том берегу? Может, опять все лес, лес?.. А ну как пустота? Черная, бездонная, зияющая, ни опоры, ни звука. Так и представляю себе: мостки обрываются — и далее ничего. Ничего! И где же мои друзья? Где князь, где Гаврила Романович? Но, главное, где Антоша? Как искать их в этой пустоте? Я же точно ума лишусь! И спросить совершенно некого. Гайст либо молчит, как татарин, либо отвечает загадками. К тому же он кажется мне не вполне нормальным. Вечно бубнит себе под нос что-то, словно сам с собой разговаривает. Мишенька говорит, что он постоянно кого-то с собой таскает, но не разглядеть. Не знаю, как верить.

Давеча заговорил вдруг, что благословенные времена в отечестве теперь заканчиваются, а придет срок, их еще и сказочными назовут. Надо же, в какое время мы живали, оказывается! Вот бы ни за что не подумал. Жаль, барон не слышал. Уж он бы, поди, повеселился! Вообще-то Гайст прав, наверное. Я тоже за сказку считал далекое, что еще до Ивана Кровавого было. И не я один, многие так. Что мы знаем о времени? Оно подобно толще воды. Что-то еще прозрачно, а другое уже и не разглядеть, затянулось. Я вообще склонен думать, что все мы живем не в своем времени. Одни с великой радостью поселились бы в веке минувшем, другие, наоборот, выбрали бы себе грядущее. Да и как иначе? Если допустить мысль, что самое лучшее время это время нашего пребывания, что это и есть некий золотой век, рай на земле, то к чему тогда все наши помыслы и порывы? Ведь ежели идеал достигнут, так не к чему и стремиться».

— Остановить мгновенье невозможно! — раздался за его спиной знакомый сухой смешок. — Чего другое, а золотой век никогда не будет достигнут.

Александр вздрогнул и оглянулся. Гайст стоял сзади и как ни в чем не бывало скалил зубы.

— Помилуйте, вы же подглядывали! Так нечестно и некрасиво!

— Вы смеете подозревать меня в мошенничестве? — нарочито шмыгнув носом Гайст. — Нет нужды подглядывать слова тех, чьи мысли и без того прозрачны. Да, золотого века не случится, — повторил он. — Никогда не случится. Время — это лишь постоянное перетекание.

— Перетекание?! — вскинул брови Александр.

— Ну да. Циник вам скажет, что это перетекание из пустого в порожнее. Философ назовет как-нибудь иначе — из ничего в ничто. На самом деле неверно ни то, ни другое. Суть не в словах. Мир постоянно меняется, течет. Идеал недостижим. Идеал — это застой, конец развития. Мир оттого и жив, что пребывает в вечном движении.

— Выглядит вполне логично, но позвольте спросить, какой же во всем этом смысл? Если все движется, все к чему-то стремится, но никогда этого не достигает, к чему тогда стремления, раз цель недостижима? Ведь ежели мне надо куда-то ехать, так я беру извозчика и именно туда и еду!

— Можно подумать, съездили один раз и больше с тех пор никуда ни ногой, — прыснул Гайст и, подмигнув, фамильярно хлопнул Александра по плечу. —

<sup>1</sup> Слабоумие преждевременное (*лат.*).

Ошибиться немудрено, мой друг. Вы смотрите на мир, словно на себя лицеиста, как на свой сиюминутный порыв. К тому же полагаете, что мир изначально разумен, что существует Бог, провидение, всемирный разум — называйте как хотите, — который что-то такое знает, хочет и к чему-то стремится...

— А разве не так? — удивленно проговорил Александр и, не дождавшись ответа, оглянулся. Но Гайста уже нигде не было.

Мрачно скрестив руки на груди, прислонившись к молодой рябинке, Гайст стоял на краю бесконечно огромного поля, которое, будто кочевник, набежало из ниоткуда и умчалось куда-то за горизонт. Взгляд его — взгляд голодного волка — то ли бесцельно блуждал вокруг, то ли выцеливал что-то недоступное обычному человеческому глазу. Мастер приткнулся рядышком, прямо возле ног учителя, безмятежно развалившись в высокой траве.

— Скажи, а это в самом деле, что золотому веку не бывать? — неожиданно спросил он, теребя травинку.

— Тебе не все равно ли?

— Конечно, нет! Как белка в колесе тут крутишься, а всё без толку.

— Сравнение мне не нравится твое.

— А после обещают загробный рай, но врут, конечно, — насмешливо упрямылся Мастер.

— Пусть колесо, но скачет по дороге.

— Которая вокруг дома заплелась.

— Тебя не переспоришь, верно. Ладно, пусть вокруг дома, но всякий раз ведь это новый дом.

— Что ж нового? Все те же окна, двери, очаг все с тем же сизым каплуном, и куча деток жадно смотрит в рот: что папа нынче им принес на ужин? И тут ты в черном мрачно говоришь: а ничего другого и не ждите. Не будет никакого рая вам, — передразнил он нарочито низким каркающим голосом и, усмехнувшись, взглянул на Гайста.

Тот вымучил улыбку.

— Чудак! Да посади тебя в тот рай, ты взвоешь через день! Запросишься обратно.

— А ты как будто знаешь наперед, чего я захочу?

— Что ж Лира ты обрёл на адские мученья, а после его же и играл, на сцену выйдя? Ну, нет бы в райских кушах посадить да окружить заботой дочерей.

— Так то ж игра! Тут важен сам процесс, не результат!

— А это не игра ли? — Гайст широким жестом повел вокруг рукой. — Напомни, кто сказал: «Весь мир — театр»? Я что-то подзабыл.

— Для красного словца и не такое скажешь.

— А после и повторил еще: «Жизнь — это только тень, комедиант, паясничавший полчаса на сцене», — усмехался Гайст.

— Так это ж в русле роли! Отчаянье героя таково, что даже смерть супруги лишь помеха. Тут с чем угодно жизнь сравнить горазд. Хоть с варевом в котле бирнамских ведьм!

— Э, не скажи! Тут точная цитата! — Гайст словно прожег его испепеляющим взглядом. — Нам интересно мучиться, страдать. А жизнь в уютном гнездышке едва ли доставит нам такие развлечения.

— Но как насчет любви? Ее пошто мы ищем? — не унимался Мастер. — Не для того ли, чтоб забыть невзгоды и поселиться в тихом уголке, подальше от суетности мирской?

— И от любви ты не уюта ждешь. Ты жаждешь битв любовных, бури сердца, измен, раскаяний, находок и потерь, признаний в верности, мольбы, прощений, чего угодно — только не покоя. Любовь не омут мельничный, в котором топят страсти.

Скорее уж — бездонный водопад! Успокоение — конец всему на свете. Спроси любого в «Глобусе» своем, на что он поглазеть туда приходит. Понравится ль ему такой сюжет, где муж с женою годы проживают, рожают деток, кушают обед, гостей встречают, сами ездят в гости, а после тихо помирают, оплаканы друзьями и родней?

— Но большинство так и живет, пожалуй.

— Ты знаешь? Видел? Ты свечу держал? Они тебе открыли сундуки своих секретов? Что ж судишь скопом всех? Иль мнится, что страсть кипит лишь в спальнях королей? А простолюдина сия напасть обходит стороною? — Гайст даже запыхался от наигранного возмущения, но, переведя дыхание, продолжил: — Так я тебе и более скажу! Никто! Никто — ты слышишь? — в целом мире в покое жить не хочет и не станет, за исключением самых древних стариков. Вот незадача — помереть со скуки! — расхохотался он.

— Однако же, притом хотят покоя все.

— Хотят одно, но делают другое, вот штука в чем! — Тут он вдруг выпрямился, оторвавшись от рябины, и, вскинув к глазам козырек ладони, воскликнул: — О, глянь-ка, вон к нам и Микула правит!

Несметная туча птиц увивалась за пахарем, перекрывая горизонт, — это первое, что удалось разглядеть друзьям. Вслед за ней поднималась еще и вторая туча — пыли. И вот, когда, соединившись, смешавшись в одно, они перекрыли полнеба, появился и сам Микула. В белой полотняной рубахе навывпуск, с рыжими в седину вихрами, вырвался он из этого хаоса, точно буревестник из шторма.

— *Deus ex machina!*! — шепнул Гайст своему спутнику и, обернувшись к гостю, воскликнул: — Привет тебе, крушитель целины! Пушиста ли земля нынче?

— Пушиста ли? Вполне! А хочешь, сам проверь. Тебе сажени хватит? Иль скажешь глубже вырыть? Как ты больше любишь? — смерил его Микула хитрым насмешливым взглядом. — Почто позвал опять?

— Я вот к тебе зачем. Пеняли мне твои богатыри — в траве не больно эту мразь поймашь. Так ты нам пособи, вспаши границы. Пройди сохой от края и до края. Пусть знают, ироды, как им сюда соваться!

— Вспахать — раз плюнуть! Был бы только прок, — кивнул Микула и полой рубахи отёр пот со лба. — Как думаешь, не дело ли живых покой свой охранять, стоять на страже?

— Они и встанут, когда выйдет час. Но чтобы встать, должно их быть хотя бы вровень.

— Господь их уравниет.

— Не сам же выйдет?

— Почто же сам? На то есть слуги Божьи.

— Так мы с тобой и есть вот эти слуги!

— Чудесный диалог! — рассмеялся Мастер, лишь только Микула скрылся за пыльным занавесом. — Он что, не знает доли своей?

— Здесь не пишут роли, — хмыкнул Гайст, — здесь нет судьбы, и всякий волен сам торить свой путь.

— Вот мне бы так!

— Глупец! Не знаешь ты, что просишь!

В предзвездных сумерках на краю того самого поля, что некогда выбрал Гайст для ристалища, потрескивал костерок. Ночью прошел дождь. Впрочем, не дождь, а так... обычная нудная морось, но сырости она поприбавила изрядно, и потому все зябко поеживались и жались к огню. Александер восседал на походном складном

<sup>1</sup> Бог из машины (*лат.*).

стульчаке, а-ля Наполеон при Бородино. Никола притулился на каком-то колченогом табурете, прихваченном по случаю из дома, а Мишенька — и вовсе стоял, мрачно скрестив на груди руки. Остальные же сидели прямо на голой земле, подобрав по-турецки ноги, и только один Гайст возлежал возле самого пламени, подоткнув под себя выдавший виды тяжелый плащ. Все ждали с отчетом старшину, а может, и не ждали вовсе. Просто такой удобный повод собраться вместе, посидеть или даже потолковать, если представится интересная тема для беседы. Как знать?

Время от времени Гайст лениво пошевеливал палочкой угли, отчего в небо взметались искры, а по лицам пробегала причудливая мозаика света и тени. Мишенька, который, кажется, впервые попал на «манёвры», спросил, ни к кому особо не обращаясь:

— Интересно, как это видится со стороны?

— Что видится? — переспросил Александер.

— Да вот всё это, все эти ночные сражения, — и повел вокруг растопыренной пятерней. — Может ли их видеть кто-то иной, не нашего круга? Ну, кто-нибудь из-за... из-за реки, — осторожно произнес он.

— Разумеется, может! — откликнулся со своего места Гайст, не оборачиваясь и не глядя на собеседника. — Может, если ему так вздумается, только что в том толку? Что он во всем этом разберет?

— То есть, как это — что?

— А то и есть, что не будет для него никаких всадников с пиками наперевес, переключек дозорных, ухающих сов по болотам. Ничего этого он не разглядит и не услышит.

— Странно... — растянул недоумение Александер. — Так что же он увидит?

Гайст хмыкнул:

— Прескучную картинку, доложу я вам. Как будто токи крови по жилам раненого зверя протекают, где мертвое соседствует с живым и красное здоровое начало сошлось в противоборстве с желтым гноем — картинка, что скорей врачам знакома. Из этого он может заключить — не все спокойно в датском королевстве, — тут он зевнул и перевернулся на другой бок. — А, впрочем, и вовсе может ничего не заключать.

— Как же печально все это выходит, — простонал Мишенька, — что для всех оставшихся за рекой мы всего лишь нелепая функция организма. И никакой поэзии, никакого полёта.

— Ну, это как еще посмотреть, — не согласился Гайст. — Ведь ежели разглядывать с других берегов, так вы и сами наполовину слепы. Разве доступен вам Демокритов колодец? Разве понятно движение атомов? Наступит час, и все творимое здесь покажется вам детским лепетом, сказочками няни в сравнении с мудростью вселенной.

Понемногу светало, и компания постепенно таяла, разбрелась. Грустен вечер, но и утро бывает печальным, когда мрак рассеется и то, что прежде таило в себе загадку, угрозу, казалось диковинным, даже и страшным, на поверку оказывается обычной гнилой корягой, которой воображение ночи дорисовывало совершенно неведомую природу.

Оставшись наедине с Гайстом, Мастер с некоторой тревогой спросил:

— Ты давеча сказал, что нет судьбы у тех, кто в этом мрачном крае обитает, но что же есть взамен? Что заставляет...

— Что заставляет дерево расти? — насмешливо перебил Гайст.

— Не дерево, героев здешних.

— А после полыхать огнем в камине?

— Я про судьбу спросил.

— Судьба... судьба, судьба, судьба, — пробормотал Гайст скороговоркой и несколько нараспев, покачивая в такт головой. — Тебе ссудили пять шиллингов, а после попросили отчитаться, на что потратил их, и очень может статься, что траты не понравились твои. Заимодавец умысел в тебе имел, вдыхая в плоть...

Ты же растратил деньги зря — на женщин, на вино, продулся в карты... Вот что судьбой зовется, друг мой. Но! Но кто, спрошу тебя, вдохнул в твоих героев жизнь? Кто их плясать заставил и песни петь, и драться на мечах, и рыскать под луной? Кто сделал глас их вещим? Они бесплотны, в них лишь дух трепещет, — заключил он и смолк, бросив на Мастера тяжелый взгляд, полный необъяснимой и неразделенной скорби. — Они бесплотны, хотя страдают, как и ты, одетый в плоть. — И, помолчав, добавил: — Ты, друг, их и вызвал к жизни, не умея вдохнуть их в жизнь. Пока что не умея... еще не время тебе таким умением владеть. И где-то, может статься, там, — махнул он неопределенно рукой, — Макбет страдает, и напрасно стучится в двери Лир, Джульетта плачет о потерянной любви, и Гамлет растерял друзей своих, как знать? Оставим их теперь. Твоя задача — другие дни на шпагу нанизать.

— Но, если так они бесплотны, какой в них прок для наших рубежей? Разве пулю остановить любовью? Или, укрывшись гневом, как плащом, мы защитим себя от лезвия кинжала?

— Нет, друг мой, нет, его не дрогнет жало. Но толк в них есть. Нас убивает слово скорее, чем разит рука. И пусть пока тебе неясен смысл вполне, но можешь верить — тот крепче дом, чьи двери охраняет дух, не ключ.

Стоит ли поминать, что для обитателей междуречья главным препятствием оставалась Смородина? Нет, никто, разумеется, в трезвом уме не думал о ней всякий раз, как глядел в сторону леса. Разве что мелькнет неловкая мысль, вроде камушка в подошве — не более, мелькнет и забудется. И завалится глубже, наслоившись иными размышлениями и обстоятельствами. Да и что о ней думать? Вот же прошли Почай — и ничего! И нет никакой смерти! Так, значит, и Смородину как-то пройдем, придет время.

Однако же нет-нет да и всплывет подлая мыслишка: а ну, как там всё по-другому? Может, пока только смерти не было, а потом — будет? Никто же с того берега не возвращался, не рассказывал. Но никто не умел объяснить и другого — почему эта мысль так зудит и тревожит? Никто не додумывал, что есть лишь одна причина, по которой нас может пугать смерть — именно та, что мы так и не поняли, что же такое есть жизнь?

Александр недаром что ни день садился за письма к другу. Так он размышлял, философствовал, уходил в себя, фактически никуда при этом не уходя, оставаясь в кругу друзей. Мишенька так не умел и страдал, вынужденно терпя соседство с другими. Не то чтобы он был нелюдим и чурался компании, просто находил в них мало интересного, созвучного своим душевным порывам. Человек поверхностный, недалекий поспешил бы окрестить его мизантропом и уж верно ошибся бы — мизантропом тот не был. Но он скучал и ничего с этим поделать не мог.

Раз как-то после затяжной докучливой непогоды, когда по всему дому гуляет такая сырость, что даже и печи не спасают, друзья собрались на вечерний чай.

— Five o'clock!<sup>1</sup> — с фальшивой гнусавостью объявил во всеулышание Александр, для пущей важности позвякивая ложечкой о фарфор. — Кажется, так это теперь называется у наших чопорных островитян?

На что Николая, притулившийся возле самых печных изразцов, печально вздохнул:

— Бедолаги, они и после реки в своем туманном Альбионе прозябают.

— Видимо, таков уж закон, — менторски развел руками Александр.

— Да уж, небесную канцелярию на хромой кобыле не объедешь, не обскачешь, — хмыкнул из своего угла Гайст. — Это вам не третье отделение — кого не надо, в Кишинёв не сошлют.

<sup>1</sup> Пять часов (англ.) — традиционное время чаепития.

— Ах, как бы я мечтал оказаться сейчас на Кавказе! — болезненно заломил кисти рук Мишенька. — Вы даже не представляете, друзья, как я теперь страдаю.

— Что тут удивительного? Всех нас преследует гений места да, видать, не судьба. Значит, недостаточно вкусили горьких плодов отечества, — философски заключил Никола.

— Соленых огурчиков, к примеру, — не удержался Александр. Но тут произошло нечто и вовсе уж неожиданное.

— А не продолжить ли нам водочкой, господа?! — раздался не пойми откуда настолько знакомый смешок, что все невольно переглянулись. «Князь! Князь! Фёдор Петрович!» — зашептали наперебой друзья, оглядываясь по сторонам, но источник голоса нигде не обнаруживался.

Надо заметить, что при этих словах Гайст поднялся и решительно вышел за двери, словно по неотложным делам.

— Ты эти шуточки брось! — пихнул он в бок выскочившего вслед за ним Мастера. — Не хватало только, чтобы тебя обнаружили! Скоро ты станешь им видим. Уже совсем скоро!

— Я примеряю cameo поневоле, — хмыкнул в ответ Мастер.

— Боюсь, признать тебя будет трудно в этой роли. Да это и не входит в наш расчет. Тягаться предстоит тебе с другими — иное поколение подрастет.

— Ты видел их? Ты можешь рассказать?

— Покуда не настало время знать тебе всех планов. Поверь, всему свой час.

Невинная проделка Мастера с подражанием голосу князя вызвала немалый переполох. Некоторое время все еще оглядывались и возбужденно обсуждали случившееся. Но так и не найдя виновника, порешили, что это вроде как *gehörhalluzination*<sup>1</sup>, наваждение, и быстро забыли о происшествии. Через час никто и не вспоминал о Фёдоре Петровиче, но Александр впал в состояние, близкое к оцепенению. Его не отпускала некая упрямая мысль, пришедшая на смену первоначальному замешательству. Вечеру привычно уединившись за бюро, он принялся за письмо.

«Милый друг, — писал он, — сегодня имело место одно любопытное обстоятельство, заставившее нас всех снова заговорить о князе. Впрочем, дело пустяк, и разговор не о том, но оно мне живо напомнило былое времечко — наши веселые пирушки, вист до утра, цыган с медведем, да и просто — словами не перескажешь — весь бесшабашный вздор и удаль, когда и день не в день, и ночь не в ночь. Вот пишу сейчас и не понимаю, куда же оно все подевалось? Не унес же князь, ровно какой-нибудь фокусник, у себя за пазухой? Время, друг мой, оно, как ткань, только лишь выцветает. Мы-то ждем все чего-то большего — и шампанского покрепче, и поцелуев погорячее, а оно все кислей да горше. Словно какой насмешник скалитя: надо было пить, покуда не перебродило, не скисло. Так ведь и пили! Кто же остался трезв? Пили, а теперь вот не пьется. Или все-таки князь унес с собою?»

А недолгое время спустя Мишенька снова заговорил с Гайстом о своем, о наблевшем, мучительно ломая пальцы:

— Помоги мне, мой Демон, вновь увидеть Кавказ — ущелья и снежные пики, и бурные стремнины, и гордых черкесов, и бездонное небо. Поверь, тут я как в неволе. Погибаю от тоски, задыхаюсь!

— Здесь ты мне равен, друг, — с печальной нежностью отвечал Гайст. — Такой же дух, как я. Что можешь ты, могу и я. А что не сможешь, то и мне не смочь.

— И разве нет никакого способа? — допытывался Мишенька. Он тяжело дышал, как вышвырнутая прибоем рыбина, глядя на мрачную фигуру Демона, на это свое — свое ли? — создание. Гайст лишь отрешенно покачивал головой.

<sup>1</sup> Слуховая галлюцинация (нем.).

- Так что мне делать? Подскажи.
- Я бы послал тебя на одну дорожку, но туда ходят сами, — улыбнулся лишь уголками губ.
- Ты говоришь про Смородину?
- Да, мой друг, потому что такое решение окончательно.
- Что ж, я готов, — вздохнул Мишенька.
- Тогда ступай вперед и не оглядывайся. Ступай, я за тобою следом.
- Мастер, который во время разговора стоял рядом, недоуменно переспросил:
- Что ж, и туда пойдешь за ним? — особо ударяя на слово «туда».
- Нет, не туда. Туда мне путь заказан. Он лишь для вас, для смертных этот путь. Я до реки лишь. После вернемся вместе в дом.

И снова, как в первый раз, лес встретил их мрачным величественным молчанием, тут же сомкнувшись над головами. Стволы елей призрачно мерцали янтарем, хлестали зазевавшихся путников мокрыми тяжелыми лапами. Ноги то и дело спотыкались об узловатый узор корней, едва различимый в сумраке. Где-то высоко, почти в самом зените, зажглась первая робкая звезда.

Мишенька легко вышагивал впереди, иногда скрываясь за очередным поворотом. Он, казалось, совершенно отрешился от происходящего, целиком погрузившись в себя. Что было в его отрешении? Звенела ли в нем песнь победы или всего лишь горечь смирения с неизбежным? Кто скажет?

Гайст шагал молча, угрюмо уставившись себе под ноги. Полы его распахнутого плаща взметались в ритм ходьбе и хлопали наподобие крыльев, но были слишком тяжелы, чтобы стать ими.

«Глянуть со стороны, так три методиста спешат на мессу, — хмыкнул про себя Мастер, но, в общем-то, было не до шуток. — Иногда слова не нужны, — думал он, — они вызывают лишнюю горечь».

Долгое время все шло привычно, но вот мало-помалу тропа начала плавный спуск, и спереди пахло сыростью. Повеяло не холодом, но тревогой. Что-то необычное творилось с шагающей впереди фигурой — на миг Мастеру показалось, что она стала меняться в размерах, вырастать, хотя они нисколько не сблизилась. И тут толкнул его в плечо Гайст, горячо зашептал в ухо:

— Смотри, смотри! Он скидывает душу!

— Какой могучий! — изумился Мастер, и теперь он точно знал, что глаза его не обманули.

— Да, это очень древний дух! — подтвердил Гайст.

Изменился и сам лес — да и только ли лес? — изменилась вся округа. Здесь все жило и дышало живым, не оставалось неподвижным, как на болоте. Будто стихия воды боролась за главенство с твердью суши, проникая сквозь корни, сквозь сплетения трав, сквозь кристаллы земли. Повсюду струилась и мерцала влага. От елей сочились рыжие огни. Здесь кончался привычный мир, мир иллюзии твердой земли под ногами.

— Стой! — схватил за руку Гайст. — Ни шагу дальше! Это река...

Они почти нагнали своего «беглеца», и Мишенька открылся им во всем своем прекрасном величии.

— Но где же... — открыл было рот Мастер, собираясь спросить: «А где же тот, кого называют Змеем?», и обомлел, так и не договорив.

Навстречу «беглецу» из туманной пучины поднималось нечто, или, вернее сказать, возникал некто, столь явно с ним схожий, что Мастер непроизвольно моргнул и принялся усердно тереть глаза.

— Нет, не двоится, — угадал его движение Гайст. — И верно, удивительное сходство! Но сходство видишь только ты, не он.

— А что же видит он?

— Он видит... как тебе сказать? — осёкся на мгновение Гайст. — Он видит как бы несвершённую, незавершённую самого себя. Кем он хотел бы стать — и кем он стал в итоге.

— И ты? Ты тоже видишь это?

— Ну нет, конечно. Откуда же мне знать, ведь я не он.

— Но как возможно это раздвоенье?

— Вот, тоже мне нашел загадку сфинкса! Да точно как и в зеркале, чудак! Но там ты видишь отражение тела, а здесь — отображенный дух. Ты в мире, словно в капле отражен. Когда ты там, — махнул он рукой куда-то назад, — ты всюду пребываешь, чего коснутся глаз твоя и рука. Ты — как вода, что принимает форму того стекла, в которое нальют. А здесь теперь ты выплеснут наружу и видишь сам себя со стороны. Там ты смотрел вокруг глазами мира, а здесь, как мир, зришь на себя.

— Запутал ты меня своим рассказом про странную зеркальность здешних вод, — проворчал Мастер, — как наизнанку вывернул рубаху, напялив ее задом наперёд. Уж и не знаю, что теперь я вижу.

— Ну, все еще себя, должно быть так. По крайней мере, я подмены не заметил с тех пор, как вышли, — хмыкнул Гайст.

Пока они вот пикировались, те двое так и стояли, уткнувшись взглядами друг в дружку, оценивая один другого, словно бойцы перед схваткой, не решаясь начать поединок. Или, может, следовало говорить о них как об одном?

— Что будет, если сходство подтвердится? — Мастер был настолько же удручен затянувшимся ожиданием, насколько понимал, что повлиять на исход не в их силах.

— Он с радостью к нему кинется в объятия.

— А если нет?

— А коли нет, придется повозиться, — развел руками Гайст. — Не зря же его прозвали Змеем, не просто ради красного словца. Случается, что днями бьются духи!

— И что же, много их кончает неудачей и погибает в схватке роковой? Ты часто заставлял здесь смерть героев?

— Опомнись, друг мой! — рассмеялся Гайст. — Где ты видел смерть, коль сам бессмертен? Смерть лишь переход. Смерть — это фетиш жизни, уловка разума, прострация ума, который знать про бесконечность не желает, — ни знать ее, ни видеть, ни вдыхать всю эту философскую химеру! От бесконечности бежит, как от огня! Кто бесконечность нам собою заслонит? Кто остановит стрелки часов страданий в тесной келье жизни? Лишь только смерть одна — вот что придумал разум во спасение себе!

— Но разве черепа героев не тлеют у реки? Откуда же они, коль не от смерти? — упрямылся Мастер.

— Да брось, друг мой! Все черепки лишь форма, которая нам стала тесной. Едва лишь только чадо подрастет, как тут же — разве нет? — ему меняют платье.

— Но все вокруг твердят, что это смерть.

— Все говорят лишь то, что затвердили — как научили нас, так мы и повторяем.

— И все ж, хотелось бы точнее знать про это...

— Вот все вы так — подай вам подтвержденье! — печально вздохнул, покачивая головой, Гайст. — А как насчет того, чтобы самим проникнуть в суть? Метаться и искать, страдать и мучиться, впадать в сомненья и находить утеху в буйстве чувств и красок — тот в женщинах, другой в вине иль, может быть, в игре? В поту кровавом истину добыть так, словно бы в бою свою победу! Не это ли есть жизнь? Не в этом ли есть путь? Опора в знании, полученном извне, кому пойдет в заслугу?

— Быть может, так, — невольно согласился Мастер и обернулся, словно бы ища подтверждения его словам.

А меж тем духи, сошедшиеся у реки, уже крепко сцепились, но это единственное, что можно было хоть как-то понять из их странных движений. Вроде как два верных сотоварища загуляли — пили-пили, да вдруг и сшиблись ни с того ни с сего, силою



схватившись за грудки. И всё молчком, выпучив глаза, набычась, дожидаясь, пока один пересилит, переупрямит, переможет другого. Со стороны поглядеть, разве разгадаешь, что они не поделили? Да верно, и сами в пылу схватки позабыли о причине, и теперь уже точно так до конца и стоять обоим, покуда не обессилят, не рухнут наземь. Так думалось.

И тут произошло, пожалуй, самое невероятное из всего случившегося в этот вечер — нельзя было в точности сказать, как так вышло, не было никаких приметных движений к тому, но один будто бы поглотил другого. Причем понять, кто именно из двоих получил успех, не представлялось никакой возможности, просто через какое-то время из двух целых остался только один.

«И точно, Змей!» — изумленно пробормотал Мастер, в недоумении оглянувшись на Гайста, который по обыкновению лишь развел руками. А этот, вновь явленный, как бы заново отлитый, точно из темной бронзы, и почти неотличимый от окружающего пейзажа, воздел руки и издал торжествующий клич.

— Так, значит, вот каков он! Вот итог страданий! — воскликнул в исступлении Мастер. — С самим собою совладать и — что в карман рука — проникнуть внутрь и обрести единство. Весь мир, чей был снаружи образ, взрастить в себе, как радужный кристалл, и всякий раз, на землю возвращаясь, оттачивать до блеска грани, до идеала выверяя строй. Пространство не помеха боле! Дерзай, поэт! Дерзай, актер! Всё в твоей воле!

— Ну, что сказать? Фантазия богата! — вздохнул Гайст. — Но истина неподалеку ходит. А впрочем, сам рассеешь все свои сомненья, когда наступит испытанья срок. Но помни: Змей — жестокий страж мостков! И наперво он не выносит трусость. Страшнее всех недугов эта хворь — привяжется, так не сыскать лекарства. Не забывай сегодняшний урок! — Он помолчал задумчиво, хрустнул костяшками пальцев и, как-то по-особенному взглянув на Мастера, заключил: — Да, смерти нет, но есть конечность жизни, поставленная на подмостках сердца, что тщится разгадать в ней смысл.

А меж тем тот, за кем они так пристально наблюдали, ставший снова единым, поначалу нерешительно сделал шаг, потом другой, третий и скрылся, исчез, словно за непроницаемым сумрачным занавесом, на котором уже всходили колючие мелкие звезды и сгушался туман, а в прибрежном тальнике тускло мерцала ржавая краюха луны.